



Любимые

Сергей КИШЛАРЬ

СИНЕЕТ
ПАРУС

Любимые

Сергей Кишларь

Синеет парус

«ВЕЧЕ»

2020

Кишларь С. А.

Синеет парус / С. А. Кишларь — «ВЕЧЕ», 2020 — (Любимые)

ISBN 978-5-4484-8498-8

Вихрь исторических событий 1914–1923 годов причудливо переплетает судьбы двух молодых женщин – жены фабриканта Арины Марамоновой и поломойки Любы Головиной. У первой есть всё: положение в обществе, богатство, красота. У второй нет ничего. Но вихрь истории изменит положение привычных вещей, низвергнет одну и вознесёт другую, а главное – вынудит каждую по-своему повлиять на судьбу гвардейского поручика Резанцева. И это влияние окажется роковым.

ISBN 978-5-4484-8498-8

© Кишларь С. А., 2020

© ВЕЧЕ, 2020

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	12
Глава 3	15
Глава 4	19
Глава 5	23
Глава 6	24
Глава 7	27
Глава 8	30
Глава 9	33
Глава 10	37
Глава 11	40
Глава 12	42
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Сергей Кишларь

Синеет парус

© Кишларь С.А., 2020

© ООО «Издательство «Вече», 2020

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020

* * *

Глава 1

Зима 1914 года.

Дом заводчика Марамонова стоял за чертой города во власти любимого хозяином помещичьего простора. Подбираясь ночами к дому, волки вязли по брюхо в снегу, с пригорка подолгу глядели на желтоватый свет облепленных снегом окон.

За граненым хрусталём морозных узоров смутно угадывалась освещённая свечами ёлка, сыпались искры бенгальских огней, слышались тосты за наступающий Новый год. Приглушённый шум весёлого застолья внезапно стихал, чтобы смениться тоскливыми звуками рояля и метящим прямо в душу меццо-сопрано: «Отцвели уж давно хризантемы в саду...»

Последний аккорд в согласии с неспешными снежинками невесомо ложился в освещённую окнами позолоту сугроба, наступала такая тишина, что даже извозчицьи лошади перестали пофыркивать и хрустеть сеном. А потом из окна в окно перекатывались аплодисменты и, словно в отместку за наполненные тоской минуты, поднимался весёлый гам.

На просторное мраморное крыльцо, весело толкаясь, вываливала многолюдная компания: дамы в мехах, господа, накидывающие на ходу шубы, цыгане со скрипками, прислуга с поднятыми над головой фонарями. Чей-то восторженно-хмельной голос от переизбытка чувств дрожал в морозном воздухе:

– Господи, какое счастье родиться в России!.. Нет-нет, не смейтесь, господа. Я знаю, я немного пьян, но вы посмотрите на эту луну, на этот снег! А эти звёзды, господа!

В ответ громко стреляла пробка шампанского, пенная струя хлестала из бутылки гибкой белой волной.

– Яшка, ну-ка рвани что-нибудь такое – э-эх! – чтобы душу пробрало хлеще мороза.

Плач цыганских скрипок взвивался к свисающим с крыши толщам снега, к сплетению заснеженных ветвей, к ослеплённым ручными фонарями звёздам. Дамы и господа осушали бокалы, в порыве чувств разбивали их о мраморные ступени, заваливались в сани. Ямщики с гиканьем уносились со двора, теряя на лихом повороте хмельного барина.

– Стой!

– Тпр-ру!..

Путаясь ногами в глубоком снегу, весело визжа и падая, компания бежала за потерянным седоком, а тот со счастливым видом выбирался из сугроба, – без шапки, с полным воротом рассыпчатого снега, – восторженно передёргивал плечами: «А, хорошо!»

Весёлой гурьбой снова валились в сани, уезжали за несколько вёрст от усадьбы, в глубины Makeевского леса. Под копыта лошадей неслась усыпанная звоном бубенцов изгладь санной дороги, от тройки к тройке летела весёлая переключка: крики, хохот, свист. Луна бежала по ту сторону густо заснеженного леса, снега вокруг неё было так много, что казалось, не только на деревьях, но и на самой луне лежит съехавшая набок бело-голубая снежная шапка.

На Разбойничьей поляне кортеж из саней останавливался. Смех, будто замороженный снежным великолепием, вдруг смолкал. С ветки бесшумно падал комок снега, рассыпался лунными искрами, как из-под волшебной палочки, которой добрая фея уже много лет вновь и вновь прикасается к Золушке, чтобы превратить её в принцессу.

– Ариша, да вы окоченели совсем, – горячие мужские губы целовали замёрзшие, несмотря на муфточку, девичьи пальцы. – Вам непременно нужен глоток коньяка.

Морщился покрасневший от мороза носик, кривились губы, а тепло уже бежало по жилам, разливалось по телу, и когда чернобородый красавец снова протягивал плоскую металлическую фляжку, девушка уже без сопротивления отпивала глоток и, отчаянно жмуря глаза, прикрывала тонкими пальчиками обожжённый коньяком рот.

Где-то вдаль вскидывался к луне протяжный волчий вой. В ответ ему с передних саней встряхивала снежную дрёму оглушительная охотничья берданка, уносился в лес пронзительный разбойничий свист. Девушка испуганно жалась к мужскому плечу.

– Не бойтесь, Ариша, они близко не подходят, – пахучая шелковистая борода касалась румяной девичьей щеки. – Давайте вашу руку, её надо согреть.

Сани разворачивались на поляне, под звон бубенцов трогались обратно к дому, а узкая девичья ладонь оставалась нежиться в расстёгнутых на мужской груди соболях. Хмельные кружились в небе звёзды, всё глубже и глубже утопая в немыслимой чёрной бесконечности, а луна бежала уже по другую сторону саней.

Бедная пленённая луна – ещё несколько верст кидать ей под копыта лошадей тёмно-синие сети, сотканые тенями заснеженных деревьев, пока не вырвется она из лесного плена на искристый степной простор.

Так всё это было или не так? Время всегда заставляет сомневаться в том, что когда-то казалось бесспорным... Нет-нет, тогда, шесть лет назад, когда Арина познакомилась с Марамоновым, всё было именно так, разве что самую малость приукрасили время и девичья фантазия.

Первое время, пока Арина ещё училась в гимназии, ухаживания были ненавязчивыми: посылные с букетами цветов, дорогой шоколад, какие-то милые безделушки. Не только гимназия – вся женская половина города вздыхала и завидовала Арине... Какой мужчина! Видный промышленник. Да в придачу молодой! Красивый! Всё сошлось в одном человеке. И дело даже не в его капиталах и не в литейно-механическом заводе, хозяином которого он был, – дело в том, что он был личностью! Он и без своих миллионов, в потёртой тужурке простого служащего не потерял бы блеска, гордости и благородства.

Когда Арина окончила учёбу и сами собой снялись гимназические запреты, всё закружилось с новой силой: ежедневно – огромные букеты цветов, прогулки на бешеных тройках, милые безумства с паданием на колени и признаниями в любви прямо в многолюдном ресторане. Девичьи щёки горели от ужаса, вызванного всеобщим вниманием, а где-то в глубине души по-кошачьи шурилась и тихо мурлыкала лесть.

Не устояла Арина, – через полгода обвенчали их в Успенском соборе. Свадьба, как водится, гуляла три дня и три ночи, а потом ещё полгода город обсуждал, сплетничал, сочинял легенды: что за именитые гости приехали из обеих столиц, кто да какими нарядами удивил, какие яства ломили столы и какие чудесные подарки дарились.

С тех пор, несмотря на пройденные годы, Николай Евгеньевич не переставал любить и вёл себя так, будто Арина была не его женой, а по-прежнему оставалась невестой, любви которой надо добиваться ежедневно как в первый раз.

А она? Любила?.. То, что обожала и боготворила – несомненно. Казалось, и любовь была. А может, просто казалось? Может, просто не знала, какой бывает настоящая любовь?.. Нет-нет, – любила! Все любили Николая Евгеньевича, как ей было не любить его!

Арине было всего двадцать четыре, а жизнь казалась ей уже состоявшейся, и всё предначертанное судьбой, кроме самой смерти, – исполненным. Всё было известно наперёд. По вторникам будут традиционные обеды у гимназической подруги Ольги Грановской. Муж её – Роман Борисович – известный на всю губернию адвокат. По четвергам – приём гостей у себя, в загородном доме. К концу недели – выезд к Гремпелю, в самый модный в городе ресторан.

В анфиладе отражённых друг в друге ресторанных зеркал будут бесконечно множиться веерные пальмы, обнажённые плечи дам, блестящие лысины их мужей, фраки официантов. Предсказуемо будут меняться на столе известные наперечёт блюда: запечённый поросёнок под хрустящей румяной коркой, осетрина с хреном, паюсная икра, балык, расстегаи. Мужчины будут пить коньяки и водку – под икорку, под селёдочку, под грибочки, а дамы со скучающим видом будут неспешно обмакивать губы в крымское шампанское и старое французское вино.

В пустом и бессмысленном вечере настоящим покажется только тот миг, когда пронзительная цыганская скрипка сожмёт хворую от неизвестной грусти душу и оставит тебе одно – растерянно моргать повлажневшими ресницами и прятать в бокале красного вина жалко дрожащие губы.

Когда от бессмысленности своего существования становилось по-настоящему страшно, Арина забрасывала всё: приёмы, выезды в театр, любимые книги и с головой уходила в общественную работу. Ездил по семьям рабочих, проверяла условия их быта, выслушивала жалобы жён, а по вечерам требовала от Николая Евгеньевича перевести на более лёгкую работу беременную женщину или усмирить какого-нибудь очередного пьяницу, который избивает жену и детей. Но даже эти нужные для души хлопоты вскоре становились той же рутинной, какой была вся её предсказуемая до отчаяния жизнь.

Ей бы детей, чтобы заполнить жизнь любовью, заботами, тревогами, но Бог не дал, и теперь в жизни ничего, кроме вечной скуки, нет и уже не будет. А через много-много лет, в которых парадоксально схлестнутся медлительность и скоротечность, она будет лежать в полумраке среди нещадно скомканных, передразнивающих её морщины простыней.

В зеркале будут отражаться огоньки оплывающих свечей, вереница аптечных пузырьков, задёрнутые гардины. А потом она уронит с кровати жёлтую старческую руку и расстанется с этой пустой, мимолётной жизнью. И перед смертью, так же как перед окончанием гимназии, будет думать о том, что ждёт её впереди, но теперь уже не в жизни, а после неё. И бояться: а вдруг – ничего?

Так и продолжалось бы за годом год, если бы не случай.

Был один из традиционных и знаменитых на весь город четвергов, которые еженедельно устраивали у себя Марамоновы. Хрустальные люстры отражались в наборном зеркале вощёного паркета, фрачные лакеи сновали с подносами. Часть гостей разбрелись по просторной гостиной, другие доверили свои тела объятиям пухлых кожаных диванов. Заядлые игроки уже писали за ломберным столом пульку, когда появился завсегдатай марамоновских вечеров Аркадий Бездольный, – безнадежно влюблённый в Ольгу Грановскую поэт-футурист, любящий шокировать степенную публику вызывающим внешним видом, смелыми и парадоксальными высказываниями, вольными манерами. Впрочем, у Марамоновых, где собиралась в основном прогрессивная молодёжь, его любили за оригинальность и многое ему прощали.

Было дело, когда высокая худая фигура Аркадия появлялась на марамоновских вечерах в странно покроенном пиджаке с изрезанными в бахрому рукавами, с деревянной ложкой в петлице, и с намалеванными на впалых щеках красными молниями. Впрочем, в тот вечер Аркадий был в скучной чёрной паре и привёл с собой молодого поручика, неизвестного доселе в доме Марамоновых.

Арина, как подобает гостеприимной хозяйке, поднялась навстречу.

– Резанцев Владислав Андреевич, – представил Бездольный. – В прошлом мой одноклассник и один из самых отчаянных гимназистов. Представьте, милая Арина Сергеевна, в гимназии мы были так похожи, что нас зачастую путали, а сейчас двух более непохожих людей сыскать невозможно: красавец офицер и почти оторванный от реального мира служитель муз. – Аркадий шуточно склонил вихрастую голову. – Ваш покорный слуга.

Для каждого появляющегося в доме гостя Арина безошибочно находила нужные слова, а тут растерялась: поспешно опустила глаза, молча подала для поцелуя руку.

Поскрипывая кожей диванов, сдвинулись, освобождая место новым гостям. Чувствуя на себе взгляд поручика, Арина сидела под навесом пальмовых листьев на самом краешке дивана, напряжённо держа выпрямленную в струну спину. Смущённо покусывала верхнюю губу, неловко тянулась пальцами к голове – поправлять безупречно собранные в узел волосы.

Аркадий в это время вольно кинул ногу на ногу, обнял руками острую коленку и по обыкновению уже низвергал авторитеты:

– Господа, уверяю вас, через десять лет не будет ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Жуковского.

Роман Борисович Грановский, поглядывая в карты и кидая на зелёное сукно ломберного стола кредитки, прислушивался к разговору. Когда дело дошло до Пушкина, он бросил на стол карты, потянулся к дымящей в пепельнице сигаре.

– Позвольте-позвольте, – обняв рукой спинку венского стула, обернулся к Аркадию. – Куда же они денутся?

– О них забудут, как забыли о песочных часах. Сметут на свалку истории, чтобы освободить место хлебниковым, маяковским, северянинам.

Роману Борисовичу, видно, везло в игре, и, пока сдавали карты да писали круглым мелком на зелёном сукне неведомые Арине цифры, он через плечо изучал Бездольного едким прищурым взглядом.

– И кто же это такие, позвольте узнать?

– Ха!.. – порывисто вскочив с дивана, Аркадий воздел к потолку руки. – Надо знать гениев, за которыми будущее.

Роман Борисович поправил золотую запонку в белоснежной крахмальной манжете, насмешливо взбрыкнул бровями.

– Надеюсь, в их чреде уготовлено место для Аркадия Бездольного?

– Со мною или без меня старых кумиров сметут на зловонную помойку. Несомненным остаётся одно: через пару лет иронии в вашем голосе поубавится. Оглянитесь! – круглые очки Аркадия щедро рассыпали по гостиной блики ярко горящих люстр. – Старый мир прогнил, – он не более чем жалкий полутруп, который отчаянно цепляется за свою жизнь, не давая место новому. Но новое, несмотря ни на что, лезет изо всех щелей.

Грановский звучно чмокнул сигарой, иронично пущенное колечко дыма поплыло к потолку, наворачиваясь на невидимую ось.

– Из щелей обычно лезет сорная трава.

– Нет, вы послушайте: «Улица провалилась, как нос сифилитика. – Аркадий вскинул руку и фразу кулаком, как восклицательным знаком, пригвоздил: – Река – сладострастье, растекающееся в слюни. Отбросив белье до последнего листика, сады похабно развалились в июне».

Горящими глазами обвёл присутствующих.

– Вот – поэзия! Вот – сила! А для вас существует только «чудное мгновение», да «белеет парус». Хватит умиляться цветочкам в саду и плакать над уходящей жизнью. Надо схватить эту самую жизнь за горло, сдавить крепкими молодыми пальцами, чтобы она наконец почувствовала, с кем имеет дело.

Арина из-под опущенных ресниц косилась на Резанцева: аристократически утончённое лицо, уверенная повадка, щёгольски подогнанная армейская форма. Поручик уже беседовал с Бергманом, владельцем нескольких крупных магазинов, а Арину всё ещё не покидало ощущение неустроенности и дискомфорта: то ли волосы растрепались, то ли платье не лежит. Будто одела его впервые и ещё не освоилась в нём.

Избавляясь от непривычной скованности, Арина решительно поднялась.

– Я что-то не очень поняла про последние листики в июне. Знаете... – глядя на Аркадия, скептически пошевелила пальчиками. – С этим вы переборщили.

– Это не я – это Маяковский! Такая сила и мощь мне пока неподвластны. – Аркадий вдруг смягчился, лукаво блеснул глазами, многозначительно поднял тонкий узловатый палец. – Подчёркиваю – пока!

И улыбнулся: мол, шутка, но не забывайте, что в каждой шутке...

Арина по-домашнему потрепала Аркадия по вихрастой макушке и боковым зрением снова поймала на себе взгляд Резанцева. Пошла с распоряжениями к прислуге, произвольно ускоряя шаг, чтобы избавиться от долгого взгляда в спину. Сколько мужчин смотрели ей

вслед, – никогда она так не напрягалась. Только затерявшись среди гостей, вздохнула облегчённо. В жестах появилась властность, а в голосе строгость:

– Анюта! Поторопи Петра, пусть шампанское несёт. Погоди! С кучерами что?

– На кухне их разместили. Самовар поставили, закуски.

– Хорошо. Синявские собираются уезжать. Передай Панкрату, пусть распорядится насчёт экипажа.

Кокетливо покачивая округлым задом, Анюта на ходу поправила белую коронку в волосах, расправила за спиной пышный бант крахмального передника, исчезла в боковых дверях, чтобы на правах хозяйской любимицы распорядиться, повысить голос, «казнить и милловать» нерасторопную прислугу. Чувствуя доверие и расположение Арины, Анюта всё больше и больше превращалась из горничной в домоправительницу, взамен старой и нерасторопной Александры Евграфовны, которую давно пора было отправить на покой, да жалость не позволяла.

Воспользовавшись тем, что гости на время забыли о ней, Арина незаметно ускользнула к себе на второй этаж. Торопливо присела на край мягкого пуфа, придирчиво вытянула к зеркалу подбородок, покосилась на свой профиль слева и справа и вдруг обескураженно поникла плечами. Нет – это было совсем не то зеркало, которое радовало её ещё два часа назад. Всё ей не нравилось: и тёмные волосы с шикарным блеском, и тёмно-синие глаза, и милый очерк чуть припухлых губ. И какую-то досадную морщинку на лбу выискала.

Всё! Конец хорошему настроению.

Уронила лицо в сложенные ковшиком ладони... Господи, закончится когда-нибудь этот вечер? Броситься бы сейчас головой в подушку, забыться, заснуть и проснуться от лежащего на подушке яркого утреннего луча, от радостного ощущения нового дня, который при всей своей предсказуемости обманчиво сулит какие-то перемены. И может быть, это единственный случай, когда тебе безумно нравится, что тебя вводят в заблуждение.

С трудом Арина преодолела неожиданный упадок настроения. Со вздохом смирения и осознания своего долга она поднялась и, избегая смотреть в зеркала, уныло пошла в гостиную.

Преферанс был закончен: на зелёном сукне разметались в бессмыслице карты, мужчины курили у сонно мерцающего камина. Аркадий в хмельной вседозволенности терзал сияющий чёрным лаком рояль, нещадно фальшивя Чайковского. Кто-то со смехом перехватил у него из-под пальцев клавиши, отрывисто побежал по ним весёлой пташкой: «Чижик-пыжик, где ты был...» Разрозненный говор слитным гулом висел под хрустальными люстрами, как в театре перед началом спектакля.

Скользя пальчиками по белым мраморным перилам, Арина спустилась к гостям. Логика и красноречие, видно, взяли верх над страстью, – Роман Борисович оказался в центре всеобщего внимания и умудрялся держать в своих руках нити норовистого разговора, такого же непостоянного, какой непостоянной и разношёрстной была публика марамоновских четвергов. Сейчас, к удовольствию многих присутствующих, он наседавал на начальника охранного отделения Павла Викентьевича Баландина, своего давнего партнёра по преферансу.

– А вот здесь, уважаемый Павел Викентьевич, я соглашусь с нашим поэтом: ваше тюремное ведомство главный враг свободы. Да-с! Вся наша Российская действительность, – тюрьмы да каторги. Возьмите любого из российских писателей, начиная от Достоевского и кончая Горьким, – все рано или поздно пишут о каторгах и тюрьмах, а писатель – зеркало действительности.

Стареющий седой красавец Баландин, прослышавший отличным семьянином и большим ценителем русской живописи, в отличие от эмоционально жестикулирующего Грановского, сидел практически неподвижно, сцепив на животе руки и внушая негромким, но твёрдым голосом невольное уважение:

– Сгущаете, Роман Борисович, хотя отчасти правы. Ведомство наше действительно ограничивает свободу. Но любая свобода, даже самая малая, подразумевает самоконтроль. По-настоящему свободный человек никогда не сделает так, что его неумное желание свободы пойдёт в ущерб другому, такому же свободному человеку. Свобода подразумевает уважение к другим людям, а иначе это уже анархия, батенька. Разве же я против свободы? Да вот же: двумя руками – за!

Вместо того чтобы жестом показать это «за», Баландин сложил вместе кончики пальцев и, держа руки на уровне груди, продолжил говорить, по-прежнему не шевелясь и только изредка разводя большие пальцы и снова сводя их.

– Но прежде чем дать свободу надо создать сознательного гражданина, который сможет правильно этой свободой воспользоваться. Скажите, положив руку на сердце, готовы мы к свободе? Закройте тюрьмы, дайте народу полную свободу – и прощай Россия: – да здравствует первобытный строй. Ведь всё разнесём, Роман Борисович. В пух и прах разнесём. Камня на камне не оставим.

Николай Евгеньевич приноровился было вступить в спор, но Арина бочком под села к нему на подлокотник кресла, и он сразу забыл о своём желании спорить: взял её изящную узкую руку, стал целовать пальчики. Арину не покидало ощущение, что Резанцев незримо находился рядом, будто сидит на другом подлокотнике кресла, внимательно слушая, как она, смущённо ощупывая в ухе бриллиантовую серёжку, шепчет на ухо мужу:

– Ники, извини, я что-то неважно себя чувствую, то знобит, то жар... Нет-нет, ничего страшного, к утру пройдёт. Я поднимусь к себе, а ты уж извинись перед гостями, если вспомнят обо мне.

У себя в комнате Арина нетерпеливо отёрнула с кровати угол кружевной накидки.

– Анюта – постели. – Тёрла пальчиками виски. – Лягу сегодня пораньше.

Минут через десять, облачившись в ночную сорочку и расчесав на ночь волосы, она свернулась калачиком под пуховым одеялом. Горничная, уходя, погасила электрическую лампочку, и лунный свет сразу же сыпанул густыми искрами по голубым морозным узорам на окнах, светлой полосой вырезал на темном полу ёлочку паркета, глянец дотянулся до лежащих на подушке волос.

С первого этажа едва слышно доносились тихие звуки рояля и пленительный голос Ольги Грановской – всё, как много лет назад: «Отцвели уж давно-о... хризантемы в саду...»

Арина натянула на голову одеяло, спряталась от всего мира, шмыгнула носом.

Господи, от чего так грустно?

Глава 2

Пасьянс не сошёлся. Унизанные перстнями пальчики вкруговую смешали разложенный в полстола карточный «иконостас», будто ветер вскружил палую листву. Ольга, вздыхая, потянулась за чашкой кофе.

– Не сбудется твоё желание.

Арина в ответ только пожала плечами. Подперев рукой подбородок, она сидела у чёрного рояля, сияющего бликами дневного света, и ноготком мизинца задумчиво постукивала по белым до голубизны зубам. Подруги успели обсудить и невеликие светские новости, и карты раскинуть, и уже вздохали от скуки.

Со второго этажа в проёме распахнутых гардин видны были заснеженные пирамиды крыш, лиловые печные дымки. В отдалении – купола Успенского собора. Невидимая улица жила внизу только в звуках: звенели колокольчики, мягко били по укатанному снегу копыта лошадей, лаяла собака – видно, гналась за извозчичьими санями. Скрежетали фанерные лопаты дворников.

Под самыми окнами – визг и смех. Это гимназисты раскатали сапогами тротуар и теперь лихо скользят, пружинисто сгибая в коленях ноги, а гимназистки падают, роняют муфточки и беспомощно скатываются по катку на спинах и ягодицах.

В огромную квартиру Романа Борисовича Ольга въехала три года назад. Двойственность чувств, с которыми она шла под венец, за эти годы притупилась: к каким-то обстоятельствам Ольга приспособилась сама, другие, с присущей ей решительностью, изменила под себя.

А двойственность состояла в том, что Роман Борисович Грановский, с одной стороны, был завидной парой: известная всему городу личность, всегда при деньгах, душа компании. А с другой стороны – седина в бороде, комплекция оперного тенора, красный нос и запах изо рта. Ещё в те времена он выглядел лет на сорок с лишним, хотя не было ему тогда и тридцати пяти.

А Ольга! Умница, красавица! Само обаяние! Ездили с Романом Борисовичем в Ниццу – знающие толк в женской красоте французы удивлённо хлопали глазами, называя её «русской королевой».

Тогда перед свадьбой судьба кинула на чаши весов разум и душу. Душа перевешивала – не лежала она к Роману Борисовичу. Да и пример любимой подруги Арины был перед глазами: возможно, в этой жизни чудо, – и красивый муж, и богатство, и любовь! По-хорошему завидовала Ольга, радовалась за подругу, а ещё была уверена, что и её не оставит судьба.

Но уже двадцать один, – почти старая дева, а мужчина мечты не попадался: если красавец, то самовлюблённый хвостун, если человек большой души, то уж непременно либо стар, либо лыс, либо тщетно силится подобрать живот. На этом «безрыбье» Роман Борисович был самой подходящей кандидатурой, и все же дала бы ему Ольга от ворот поворот, если бы не старания матери. Уж она-то наверняка знала, что жить надо разумом, а душу держать в узде. Говорила избитое: «Стерпится – слюбится». Рассказывала истории о любви, которая в нищете превращалась в ненависть, а иногда находила такие убедительные и задушевные слова, что Ольга сдавалась.

Права была мать: стерпелось – слюбилось. И уже стала необходима отцовская ласка «Ромашки», его забота, внимание. Ах, если бы ещё не этот супружеский долг!

Долг вообще вещь тяжёлая, а уж этот!

Ольга допила остатки остывшего кофе, долго смотрела в чашку, покручивая её в пальцах.

– Может, на кофейной гуще попробуем?

Арина оторвала подбородок от ладони, кисть руки упала, свесившись пальчиками вниз, как увядший цветок.

– Нет, не хочу.

– А что за желание было?

– Так... – Пальчики ожили, пренебрежительно махнули. – Не стоит внимания, – пряча взгляд, Арина придирчиво изучала свои тщательно отполированные ноготки. – Оль, а что за поручик был с Аркадием в прошлый четверг? Раньше я его в городе не видела.

– О, с этим поручиком целая история. Кофе будешь? – Ольга подвинула к краю стола пустую чашку, крикнула прислуге: – Тихон! Еще кофе! – И, деловито ощупывая на затылке узел золотистых волос, торопливо щебетала: – Романтическая, между прочим, история. Переведён к нам из Петербурга. Гвардеец. Говорят, блестящая карьера ждала его...

Изящным пальчиком впихнула обратно выбившуюся из волос шпильку гофре и вдруг избоку оценила подругу быстрым взмахом удивлённых глаз.

– Постой-постой – с чего это ты им заинтересовалась? Не припомню случая, чтобы тебя мужчины интересовали.

Арина небрежно пожала плечами:

– Просто к слову пришлось, вот и спросила.

– К какому слову? Мы и близко о нём не говорили.

– Ладно, оставим. – Арина крутнулась на винтовом стульчике, открыла крышку рояля, побежала пальчиками к бетховенской Элизе.

– Нет, погоди... Ну-ка, Арина Сергеевна, посмотри мне в глаза.

Арина резко оборвала игру, крутнулась лицом к подруге.

– Вот, смотрю. Что ты хотела увидеть?

Ольга взяла со стола червового валета, иронично помахала им.

– Так-так-так...

– Оль, что за глупая ирония? – Широко распахнула возмущённые глаза, а Ольга в ответ напротив, – хитро сощурилась. Арина смутилась, будто была в чём-то виновата, отвернулась к роялю. – Всё! Забыли! А то рассержусь.

– О-о-о...

Арина вспыхнула, крышкой рояля поставила звучную точку, резко поднялась.

– Мне пора.

– Погоди, Тихон кофе несет.

Арина вместо ответа возмутила подол юбки быстрым шагом.

– Ариш, ну, извини... – Ольга догнала, торопливо пошла рядом, клонясь вперед и примирительно заглядывая подруге в лицо. – Что ты из-за всякой мелочи, в самом деле! Шутка – невиннее не бывает.

Твёрдость возмущённого, уверенного в своей правоте шага увязла в сомнениях. Уже по инерции дойдя до высокой двери полускрытой тяжёлыми складками портьер, Арина смягчилась:

– Это ты меня извини, нашло что-то.

Обменялись примирительными поцелуями. Арина смущенно завела за ухо выбившуюся прядку волос.

– Я всё-таки пойду. Голова разболелась.

Пока седой лакей Тихон помогал Арине надеть котиковую шубу, Ольга заботливо поправляла на подруге меховую шапочку.

– Я тебе так и недорассказала. Там какая-то дуэль была. Погоди, не вертись, волосы выбились. Тебе удивительно к лицу эта шапочка. Вчера такую же на Бергманше видела. Он стрелялся из-за фрейлины императрицы.

– Можешь не рассказывать, мне это не интересно.

Ольга словно не расслышала:

– Говорят, он прославился в Петербурге своей красотой, дерзостью, романами. Знакомства в высшем свете водил, кутил с великосветской молодёжью, а потом эта дуэль.

Ожидая, пока лакей лязгал дверными замками, Арина смотрела в потолок взглядом безалаберного гимназиста, выслушивающего до оскомины знакомые нравоучения.

– В результате ранил какого-то молодого князя, – скороговоркой продолжала Ольга. – Одним словом, сослали его в наш гарнизон, подальше от столицы. А ещё говорят...

Скрипнула дверь, впуская в полутёмную прихожую полосу света от подмороженных лестничных окон, Арина не дослушав, чмокнула Ольгу в щёку, торопливо вышла. Пряча руки в муфточку, застучала каблучками по мраморным лестничным пролётам. Ольга прислонилась плечом к дверному косяку, удивлённо подняла вслед подруге брови, озабоченно цокнула языком.

Каблучки Арины закончили счёт ступеням. Заскрипела, тренькнула подпружиненная массивная дверь и, на секунду задержав дыхание, тяжело вlepила всему подъезду гулкую, с дребезгом стёкол, оплеуху.

Глава 3

Вся жизнь Любы Головиной прошла на Кривой Балке, – в рабочей слободе, где каждое утро заводской гудок рождал злую похмельную жизнь. На четверть часа главная улица слободы превращалась в сонный людской поток, который дробился на два рукава: один исчезал за железными воротами литейно-механического завода; второй, поменьше, сворачивал к товарной станции и паровозному депо. Вечерами пустынная улица снова оживала: устало покачиваясь, толпа рассыпалась по проулкам, по серым ветхим домам, по протабаченным кабакам.

Солнце садилось за размытые сиянием кирпичные заводские трубы. Тени разрастались, тяжелели, рождали сумерки. В тёмных переулках слышался шум драки, пьяные песни, доходящая до визга семейная перебранка, а утром снова звучал гудок, и убогая жизнь плелась на привязи по очередному кругу – хрустела ногами по заледенелому снегу, вздымалась серойлетней пылью, чавкала липкой грязью.

Ещё год – псу под хвост. Ещё одна зарубка на память.

Когда Любку забирали в услужение к Марамоновым, на некрашеном дверном косяке было уже семнадцать таких зарубок. Шестнадцать сделал отец, последнюю – Любка сама. Прислонилась спиной к косяку, сделала над головой засечку и, кривя в плаче губы, долго полосовала ножом чёрное рассохшееся дерево.

Матери своей Любка не помнила, – еще не было первой зарубки, как не стало её. Когда пришло время ставить семнадцатую, с отцом на заводе произошло несчастье. Хозяин завода Марамонов лично присутствовал на похоронах и, пообещав позаботиться об осиротевшей девушке, взял её к себе в дом полумойкой. С тех пор вот уже четыре года служила Любка у Марамоновых.

Вёснами окраины Кривой Балки тонули в цветущих зарослях сирени. Вечерами выманивала из дома гармоника, за каждым кустом слышались вздохи, тихий шёпот, звуки поцелуев, и парни в сумерках с треском ломали эту самую сирень – не для неё, не для Любки.

Молодая весенняя жизнь проходила мимо. Даже в церковь девушка собиралась как на каторгу. Приодеться, повязать платок – значит идти к зеркалу, а своего отражения она боялась пуще всего. С тоской смотрела Люба на некрасивое лицо: на узкие злые губы, на маленькие глубокие глаза, на бледные, но такие густые веснушки, что казалось, будто смотришь не в зеркало, а сквозь пыльное окно, испещрённое следами засохших дождевых капель.

Озлобившись на весь неласковый и враждебный мир, Любка забивалась в угол комнаты, часами грызла от досады ногти – до крови, до мяса. Пальцы начинали гноиться, пухнуть – со слезами отчаяния приходилось отмачивать их в соляном растворе.

Росла она молчаливой и нелюдимой, и только изредка, бывало, прорвётся из мрака души какой-то живой огонь, засветятся интересом глаза, будто родится из Любки новый человек, и тогда она охотно разговорится с кем-нибудь на улице, заулыбается. Ей тоже улыбнутся в ответ, и окажется, что люди совсем не такие плохие, какими кажутся, а в душе у неё самой столько хороших, неизвестно зачем прячущихся слов. Но мельком скользнёт в слободском оконце отражение ненавистного лица, и миг погаснет улыбка, опустеет оплеванная душа, а ноги сами понесут к балке – кинуться головой вниз с высокого обрыва.

В марамоновском доме стало ещё хуже: огромные зеркала, чистота, великолепие – всё для того, чтобы подчеркнуть Любкину никчемность, чтобы напомнить: кто ты?.. Лужица осенней жижи, оставленная неопрятным сапогом на сверкающем мраморном полу. Грязная клякса, которую необходимо вывести начисто, без следа!

Чувствовала Любка – молодая барыня Арина Сергеевна в глубине души недолюбливает её. Видно, хотелось ей видеть в своём окружении только таких смазливых вертихвосток, как горничная Анюта.

Ну, уж извините, – что Бог дал, то и имеем, а не нравится!.. А что, если не нравится? Уйти в старый разваливающийся дом? Таскать шпалы на строительстве новой железнодорожной ветки?.. Нет, не готова была к этому Любка.

Обида терзала душу. Скаля от ненависти зубы, девушка назло себе подолгу глядела в зеркало, чтобы пережечь всё в душе, довести себя до бесчувствия. Потом покорно шла к иконе, безмолвно спрашивала у Спасителя: «Отчего, Господи? Отчего одним всё: сказочная красота, любовь, роскошь, а другим – уродство, нищета, одиночество?»

Молчал Спаситель, глядя на Любку страдавшими глазами... Значит, ещё не время давать ответы. Значит, надо страдать. Ведь страдание не даётся напрасно. Для чего-то нужна она Богу такая, какая есть.

А последней осенью к Любкиным переживаниям добавилось ещё одно досадное чувство, – случай познакомил её с молодым кровельщиком Максимом Янчевским. В тот день крыша каретного сарая обнажила свой густо затканый паутиной деревянный скелет. С грохотом летели на землю проржавевшие до дыр листы кровельного железа, испуганно разлетались в стороны опавшие листья, поднимали лай запертые в дневном вольере сторожевые собаки.

Дворник Панкрат и сторож Михей волокли прочь со двора тонко дребезжащие листы, а на крышу уже подавали новые – ещё не крашенные, отливающие калёной синевой, звучащие, как упругое дно большого жестяного корыта. Кровельщики вызванивали молотками на всю округу, громко перекрикивались – то весело, то сердито.

Возвращаясь с порожним ведром от помойной ямы, Любка залюбовалась работой молодого кровельщика. Парень полулежал бочком на скате крыши, ловко постукивая молотком, – в губах пучок гвоздей, закатанные под самые плечи рукава рубахи открывали катающиеся по руке мускулы, плавные чёрные кудри падали в глаза. Несколько ямок, выклеванных на щеке оспой, нисколько не портили его простого симпатичного лица.

Заметив Любу, кровельщик весело подмигнул ей.

– Полезай сюда, красавица.

– Чаво я там потеряла? – смутилась Любка.

– Кабы ты знала, какой отсюда вид, – весь город как на ладони. – Парень вынул изо рта гвозди, протянул руку, указывая молотком. – Вон Дмитриевский монастырь, пожарная каланча, Успенский собор. Даже бронзовый император на своей хромой кобыле виден.

Забыв о своей нелюдимости, Любка беззвучно рассмеялась.

– Тебя как звать-то? – спросил кровельщик.

– Любка.

– А меня Максим. Хочешь, Люба, озолочу?

Парень наклонился к краю крыши, загрёб из старого, ещё не сменённого водосточного желоба ворох опавших листьев, широким жестом от груди сыпанул ими вниз. Подставив лицо летящим листьям, Любка рассмеялась. Максим щедро кинул ещё охапку, потом ещё. Любка стояла в цветном калейдоскопе ярко освещённых солнцем листьев – желтых, зеленых, багряных. Зажмурила глаза от приступа неожиданного глупого счастья и вдруг опомнилась, отрянула плечи, побежала в дом.

На кухне плюхнулась на табуретку, рассеянно глядела на ярко-жёлтый кленовый лист, прилипший ко дну помойного ведра. Только с третьего раза вздрогнула она на оклик кухарки Глафиры.

– Чего ты в ведро уставилась, будто видение тебе оттуда? Поди, золу из самовара вытряси...

С тех пор заболела Любка душой. Впервые парень отнёсся к ней уважительно, без насмешек, тем и покорила её. Теперь дня не проходило, чтобы Любка не думала о Максиме.

Вот, где была беда!

Вечерами долго не могла уснуть. В углу людской, за линялой цветастой занавеской, кусала зубами подушку... Полюбила ворона сокола... И отчаянно жмурилась, вспоминая ненавистное зеркало.

А Максим зачистил: стучал молотком на крыше дома, потом на дворовых постройках, потом приходил без дела. Замечала Любка: как наступит вечер, как уедут барин с барыней, появляется во дворе Максим, – будто бы по делу пришёл, а сам шепчется о чём-то с горничной Анютой за сараями. Любкино сердце шалело от ревности.

С Анютой и раньше не ладились у неё отношения, – смазливая любимица хозяйки ко всем относилась чуть свысока, а к дурнушке Любе и вовсе с пренебрежением. Любка терпела, не проявляя враждебности, а тут словно ошалела: Анюта ей слово, – она два в ответ, мол, нечего тебе распоряжаться, пусть Александра Евграфовна приказывает. Голос злой, отрывистый. Анюта от удивления хлопала кукольными голубыми глазами, заикалась от возмущения, бежала жаловаться барыне.

Арина Сергеевна всегда принимала сторону горничной. Любка только ногти кусала, молча кивала головой: мол, поняла, исправлюсь. Но едва барыня уходила, в Любке снова просыпался чёрт, – демонстративно поворачиваясь, она делала вид, что не слышит Анютиных распоряжений.

В один из вечеров, вскоре после Рождества, Анюта торопливо прихорошилась у зеркала, касательным движением пальчика распрямила ресницы, накинула на плечи серый шерстяной платок, вышла во двор. Натянув валенки и наспех накинув ватник, Любка крадучись вышла вслед за ней.

На заднем дворе болтался на ветру скрипучий электрический фонарь, конус света рыскал в сером истоптанном снегу. Двор был пуст, но чутьё безошибочно привело Любку к каретному сараю, за дощатыми воротами которого отчётливо слышались торопливый жаркий шёпот, сопение, шорох сена.

Кусая до крови ногти, Любка сползла спиной по стене и, сидя на корточках, жмурила от отчаяния глаза до тех пор, пока возня в сарае не завершилась сладким Анютиным стоном. Тогда Люба опомнилась, испуганно вскочила, отбежала к дневному вольеру для сторожевых псов, упёрлась спиной в проволочную сетку. Пёс по кличке Гусар, – он почему-то больше других любил Любу, – кинулся к сетке, упёрся в неё передними лапами, завил хвостом, заскулил.

– Тихо, Гусар, – шёпотом успокаивала его Любка. – Тихо.

Из-за угла сарая показалась Анюта, – на ходу отряхнула от сена юбку, через заднее крыльцо вошла в дом. Чуть погодя, озираясь и придерживаясь тени, пошёл к воротам Максим. Сердце Любки колотилось под горло. Она сняла с двери вольера металлическую скобу, хищно скрюченными птичьими лапами сунула в ячейки сетки пальцы, приоткрыла дверь.

– Ату его, Гусар!

Выкидывая назад лапы, пёс мощными скачками понёсся вслед Максиму. Любка испуганно бросилась к заднему крыльцу, поскользнулась, больно ушиблась о ступени. Не чувствуя боли, вбежала в дом. Последнее, что слышала она со двора, – озлобленное рычание рвущего добычу зверя. На ходу скинула валенки, схватила половую тряпку, на четвереньках суетливо вползла в кухню, затирая оставленные Анютой мокрые следы.

Глафира суетилась у печи, бодренько напевая «Очи чёрные». Любка видела только мокрые пятна талого снега на гладких, выкрашенных в тёмно-вишнёвый цвет половицах, просыпанную у плиты золу, хлебные крошки у стола. Глафира, на секунду замолчав, что-то откусила, голос её исказился, переходя в аппетитное мычание.

– Хватит ползать, – невнятно сказала она, роняя на пол новые крошки. – Я пирожки вынула, иди пробуй... С зайчатиной.

Любка поднялась с колен, отряхивая мокрую руку. Хлюпнула соплём, утёрла под носом. Протягивая ей пирожок, Глафира сокрушённо вздохнула:

– Любка, и когда ты перестанешь быть деревенщиной? Не первый год у господ – пора чему-нибудь научиться.

– Ничаво, нам не с золотых чашек пить.

За комнатными цветами, за отражением лампочки в черном глянце окна, слышалось злобное рычание Гусара, возбужденные голоса. Девушка испуганно жевала, кивала головой, не понимая, о чём рассказывает ей Глафира. Косилась в угол на лик Спасителя, мысленно заклинающая: «Господи, спаси и сохрани!»

На пороге кто-то обстучал от снега ноги, заскрипела дверь. Любка запихала в рот весь пирожок, испуганно упала на колени, поползла вытирать пол. Вошёл дворник Панкрат.

– Глафира, ты псов кормила?

– Да ты же сам их кормил.

– А ты, Любка, к псам не ходила?

– Не-э... – промычала девушка набитым ртом и деловито полезла с тряпкой под стол.

– Говорил я, надо в клетке у Гусара запор поменять. Что проку в той скобе? Видать, кидался лапами на дверь да и выбил скобу. Вырвался из клетки, на Максима-кровельщика кинулся.

Перестав жевать, Любка наострила под столом уши. Сердце испуганно колотилось.

– Насилу отогнал его, покусал парня до крови.

– Так ему и надо, – сердито отозвалась Глафира. – Нечего по ночам шастать. Анюте тоже не мешало бы зубы к одному месту припечатать.

Любка, осмелев, выползла из-под стола, затёрла за дворником мокрые следы, сердито ткнула тряпкой в его сапоги.

– Опять наследил, дядя Панкрат. Мало того, что целый день, так ещё по ночам за вами ползать.

Глава 4

Над городским катком висели купола яркого электрического света, затканые серебряным игольчатым снегопадом. Разноцветными шарами поблёскивала в центре катка новогодняя ёлка. Звуки вальса влекли за собой вставших на коньки горожан, подгоняли их, кружили вокруг ёлки. Мелькали счастливые лица, плыла куда-то литая решётка городского сада, торопливо проносилась мимо колонная беседка с красными от мороза щеками музыкантов и блестящими трубами военного оркестра.

На коньки встало почти всё общество, бывающее у Марамоновых, даже Эльвиру Карловну Бергман, тучную, уже немолодую немку, коллективно вывели под руки на лёд. Но и круга на дрожащих ногах не сделав, запросилась на скамеечку. В течение получаса, потирая ушибленные бока, к ней присоединились почти все, кто возрастом шагнул за границу степенства, и вскоре решили ехать к Гремпелю, где с прошлой недели «не играет, а плачет на скрипках чудный бессарабский оркестр».

Молодёжь шумно ратовала за каток и после недолгих дебатов без особых сожалений сошлись на том, что придётся разделиться. Марамонов и Грановский, виновато целуя жёнам ручки, тоже уехали, не устояли перед соблазном плачущих скрипок и запеченных поросят. А ещё ждала их в отдельной кабинке заведения неторопливая «пулька».

Весь вечер Ольга была без настроения, но с отъездом Романа Борисовича вдруг заалела щеками. Её хватили за руку и влекли вокруг огромной ёлки то Аркадий Бездольный, то Резанцев, то Виктор Гузеев – молодой помощник Романа Борисовича. Арине тоже галантно протягивали руки: и тот же Бездольный, и Резанцев, и застенчивый инженер с мужниного завода, – строго поджимая губы, она отвергала всех.

Не одобряла Арина поведения Ольги, сердилась на неё, а в минуты душевного откровения с ужасом признавалась самой себе, что попросту ревнует подругу. Пусть немного, пусть самую малость, но всё же! И вот, что странно – к Роману Борисовичу этой ревности не было, а к его помощнику – пожалуйста! Едва появлялся на горизонте красавец Гузеев, как Ольга отдалялась от Арины, что-то недоговаривала, скрывала.

Арина делала вид, что ничего не замечает, что скрытность подруги не ранит ей душу. Ради такой дружбы стоило и потерпеть. Мало того, что у подруг были одинаковые вкусы и одинаковый взгляд на мир, так и внешне они не уступали друг другу, являясь живым олицетворением бессмысленности вечных мужских споров о том, кто красивее – блондинки или брюнетки. И при этом никакого соперничества, никакой зависти, наоборот, – каждая гордилась красотой подруги.

Обе они в отдельности были редкими красавицами, но стоило появиться им вместе, случалась гоголевская немая сцена. Когда они в узких белых платьях с голыми плечами и спинами входили в ресторан Гремпеля, останавливались на полпути рюмки, замирали над тарелками вилки, висли веточки надкушенной петрушки в удивлённо приоткрывшихся губах.

Первыми из оцепенения выходили жёны, – неприметно тыкали острыми локотками своих суженых под рёбра, подошвой туфельки давили под столом лакированный ботинок мужа. Мужчины, поперхнувшись водкой, ставили на стол рюмки, носовыми платками утирали взопревшие лбы.

Тем обиднее было, когда возникало между подругами непонимание. Уж на что Аркадий Бездольный был Ольге не нужен, а держала его на крючке, играла как кошка мышкой.

Здесь они с Ольгой не сходились. Оттого и сердилась, оттого и сдвигала брови Арина.

А Аркадий, забросив за спину конец длинного шерстяного шарфа и, раскидывая в стороны руки, летел на коньках, заполняя паузу между вальсами восторженным криком:

Я сразу смазал карту будня,
Плеснувши краску из стакана,
Я показал на блюде студня
Косые скулы океана,
На чешуе жестяной рыбы
Прочёл я зовы новых губ,
А вы ноктюрн сыграть могли бы
На флейте водосточных труб?

«Ах, Аркадий, Аркадий, – на ходу вздыхала и мысленно качала головой Арина. – Рядом с вашей искренней любовью к авангардной поэзии, так очевидно банальное желание понравиться. А эти тайные взгляды, которые вы украдкой бросаете на Ольгу, пытаясь уловить одобрение в её глазах! Боюсь, вы даже не замечаете её тонкогубой иронии».

Осуждающим взглядом Арина искала Ольгу, рядом с которой остался только Виктор Гузеев – всех отеснил, никого не подпускал. Только ему улыбалась Ольга, только его держала за руку. Бедный обескураженный Аркадий поначалу вяло скользил вслед за своей пассией, потом Арина увидела его сидящим в одиночестве на скамейке под мохнатыми от снега ветками каштана, уютно подсвеченными электрическим фонарём.

Упираясь локтями в колени, Аркадий указательным пальцем растерянно ощупывал на тонком хрящеватом носу дужку очков и так поник головой, что концы обмотанного вокруг шеи шарфа свисали до самого льда. Когда мимо пронеслись Ольга и Гузеев, молодой человек исподлобья глядел на них, ломал в тихом отчаянии брови, с хрустом жевал тонкую хрупкую сосульку.

Остальные мужчины затерялись где-то среди весёлых и визгливых барышень – вчерашних гимназисток. Арина осталась одна и вдруг затосковала... Господи, как трудно бывает понять саму себя. Оказаться бы сейчас у Гремпеля, заботливо стряхнуть с мужниного плеча сигарный пепел, немного покапризничать: «Ах, Ники, надоело всё, поедem домой». И он с готовностью бросит карты, заботливо подаст шубу, прижмёт к себе на заднем сиденье прогревающегося, мелко дрожащего автомобиля...

Ольга, похожая на раскрасневшуюся гимназистку, с весёлым визгом налетела откуда-то сзади, теряя равновесие, ухватилась за Арину – чуть не повалила её. Шепнула: «Ариш, расправь брови, тебя же все мужчины боятся» и, протянув Гузееву руку, унеслась дальше.

Арина ещё сильнее насупилась, неуверенно свернула на зыбких коньках к скамеечке, составить компанию бедному Аркадию. Нога её неожиданно подогнулась, лёд выскользнул из-под коньков, шершавым холодом обжёг ладони, поехал куда-то вбок.

У самого лица молниями сверкнули, заскрежетали коньки, брызнули в глаза цветными кружочками конфетти и белой ледяной стружкой. Со всех сторон съехались, помогли подняться, под руки повели её к краю катка. От испуга и растерянности видимый мир сжался вокруг Арины на расстояние вытянутой руки. Её усадили на скамейку, расшнуровывали и снимали ей ботинки с коньками, ощупывали ногу: «Здесь болит?.. А здесь?.. Идти сможете?»

Морща от боли лицо, Арина сунула больную ногу в изящный полусапожек, но только встала – ахнула, теряя равновесие. И в тот же миг чьи-то крепкие руки оторвали её от земли. Из окружающего тумана проявилось первое лицо – Резанцев.

– Я донесу вас, не беспокойтесь.

Арина не на шутку испугалась, ладонью упёрлась поручику в грудь.

– Пустите... Я сама.

Но Резанцев, уже успевший скинуть коньки, уверенно зашагал по краю катка к выходу.

– Вам не стоит беспокоиться, просто возьмитесь за мою шею.

За шею? Никогда!.. Рука неловко висела за спиной поручика, Арина затравленными глазами искала Ольгу. Откуда-то взялся извозчик, Арину бережно усадили в сани, кто-то надел ей второй сапожок, кто-то склонился застегнуть медвежью полость. Из недр туманного мира вновь объявился Резанцев:

– Ольга Васильевна, позвольте я!

Арина испуганно засуетилась, затравленно завертела головой... А Ольга?.. Позволит ему отвезти её?

Наконец нашлась и Ольга – заботливо запахнула Арине полы шубы, подняла воротник.

– Езжай, Ариша, я догоню вас.

Резанцеву подали шинель. Торопливо попадая руками в рукава, он сел в сани, ладонью хлопнул кучера в спину:

– Трогай, любезный.

Всю дорогу молчали. Поначалу Резанцев пытался затеять разговор, но Арина отвечала так односложно и неохотно, что он вскоре оставил попытки разговорить её.

Встречный ветер путался в воротнике шубы, лаская нежным мехом подбородок, щёки, губы. Звон бубенцов сыпался по коридорам желтого фонарного света. В синих неосвещённых проулках из зашторенных окон падали на тротуары косые полосы света, а бледные невзрачные снежинки в этих полосах вдруг преображались, празднично серебрились мелким густым звездопадом.

Тёмно-синими силуэтами проплыли мимо конный памятник императору Александру Второму, купола Дмитриевского монастыря, пятисотлетний заснеженный дуб, ограждённый массивными, провисающими цепями. Не доезжая до Кривой Балки, дорога свернула за город, и вскоре за белыми ветвями каштановой аллеи уютно засветились высокие венецианские окна загородного дома.

Обогнув круглую заснеженную клумбу, сани остановились у крыльца. Не дожидаясь извозчика, Резанцев сам отстегнул полость, подхватил Арину на руки.

В отсутствии хозяев люстры в доме были потушены, сумрак гостиной разжигал только слабый свет хрустальных бра. И снова в окружающем невидимом мире поднялась суета: ярко вспыхнули люстры, кто-то из прислуги испуганно причитал, кто-то показывал Резанцеву, куда идти. Арина видела перед собой только молодую упругую щёку поручика с чуть приметной, напрягшейся от мороза вечерней щетиной. Жалобно просила:

– Довольно. Дальше я сама.

Но Резанцев не слушал – поднялся по мраморной лестнице на второй этаж, огляделся, поторопил кого-то:

– Иди вперёд, показывай.

Смело вошёл в святая святых, посадил Арину на кровать. Не считая Николая Евгеньевича, он был первым мужчиной, оказавшимся в её спальне. Арина испуганно порывалась встать.

– Нет-нет, сидите, – снимая фуражку, остановил её поручик. – Ольга Васильевна скоро приедет с доктором Мережковским.

Анюта присела на корточки, расшнуровывая полусапожки. Поломойка Люба ползала на четвереньках, затирая за Резанцевым мокрые следы. Слушая, как бьётся сердце, Арина глупо и бессмысленно повторяла про себя один и тот же навязчивый вопрос: «Господи, что же это такое?»

Ставя точку в конце затянувшейся неловкой паузы, умница Анюта со стуком уронила на пол сапожок и, принимаясь за второй, строго посмотрела на поручика.

– Идите, вам здесь нельзя. Надо барыне ногу осмотреть.

Резанцев спохватился, молодцевато щёлкнул каблуками, быстрым движением головы кинул на лоб светлые шелковистые волосы:

– Честь имею.

Глава 5

После того случая на катке что-то переменялось в душе у Арины. Она лежала целыми днями в постели. Мысли странные, противоречивые сшибались в её голове, а в довершение им – непонятное, выматывающее душу томление, заставляющее неустроенно ворочаться с боку на бок и в непонятном отчаянии вдруг зарываться головой в подушку.

Нога давно уж прошла, а Арина врал доктору Мережковскому:

– Да доктор, вот так... И так болит... Ой, доктор!

– Хм-м. – Доктор вращал в крепких волосатых пальцах её узкую розовую ступню, супил брови. – Странно. Вывих – так себе, не очень чтоб... Ну-с, попробуем вот что... – И пристроив на краю трельяжного столика лист бумаги, строчил перьевой ручкой очередной рецепт.

«Ай, как нехорошо, Арина Сергеевна, ай, вруша! – Арина стыдливо отворачивала голову к глянцевито блестящим рельефным изразцам уютно потрескивающей печи, и сама себе мысленно отвечала: – А вы знаете другой способ побыть одной, чтобы все оставили вас в покое, хотя бы на время?»

Едва уходил доктор, она в поисках оправданий искала у себя то признаки жара, то ступню выворачивала самым неестественным образом... Ай, как стыдно! Хотя, постой-постояй! Хрустнуло что-то... Ну, конечно же, – не могла она врать.

А к четвергу вдруг поднялась на ноги. Боли как не бывало – она летала не жалея ног. Устраивала разносы прислуге. В этот четверг должен быть лучший из приёмов в доме Марамоновых.

В душе Арины царило праздничное ожидание. А вот чего она ждала? – в этом она не призналась бы даже самой себе.

Просто хорошее настроение. Что? Нельзя?

К вечеру от этого хорошего настроения не осталось и следа. Еле дождалась, пока разъедутся гости. Уже лёжа в постели, Арина сердито отворачивалась от Николая Евгеньевича, пришедшего пожелать ей якобы спокойной ночи, но конечно же не только за этим:

– Извини, Ники, – голова! Ты себе даже не представляешь, как разболелась... Да-да, спокойной ночи, целую.

И – под одеяло! С головой! Носом в подушку, чуть не плача...

Не пришёл, ну и не пришёл. При чём здесь Резанцев? Просто настроение поменялось. Имею право?

Утром Арина проснулась в сладкой истоме. Широко раскрыв глаза и боясь пошевелиться, смотрела в потолок, ошарашенная силой своего сновидения. Иногда сон оставляет след не только в сознании, но и душу переворачивает до самого потайного уголка, и в теле отдаётся до самой дальней дрожащей жилочки.

Преступно хорошо, стыдно и немного страшно... Никогда, даже в мыслях, Арина не изменяла Николаю, а этот сон – почти явь. Всё так реально, так физически ощутимо...

Арина вместе с одеялом порывисто отбросила от себя эту преступную негу. Вскочила с кровати, упала перед иконой на колени: «Прости, Святая Дева! Ведь во сне же, не наяву!»

За завтраком она избегала смотреть в глаза Николаю Евгеньевичу. Сосредоточенно жевала, смущённо подносила салфетку к губам. И сразу после кофе уехала в Успенский собор – замаливать грехи.

Глава 6

Весна 1914 года.

Несколько месяцев о Резанцеве доходили только слухи, – то Ольга как бы между прочим вспоминала о нём, то Эльвира Карловна Бергман, знающая всё обо всех, рассказывала, что известная на весь город своей красотой Полина Вильковская пыталась отравиться из-за несчастной любви к нему, а он холоден к ней и к другим, добивающимся его любви женщинам, что тайно влюблён он в какую-то молодую особу и в обществе давно уже гадают – кто она?

Арина тоже гадала и злилась на саму себя. Что ей до какого-то Резанцева и до его таинственной пассии? Нет – жила в последнее время какой-то странной и непонятной обидой. Всё думала о той женщине – хоть краем глаза увидеть её. Это какой женщиной надо быть, чтобы так изменить человека? Гуляку с гусарскими повадками, презирающего любовь и признающего только флирт, заставить влюбится по-настоящему, замкнуться, не признавать других женщин.

Арина стала избегать общества. Слишком много мыслей было в её голове, а мысли эти требовали уединения.

Николай озаботился – здорова ли? Хандра напала? Засуетился, с доктором Мережковским советовался, подарки дарил, на Ривьеру летом обещал, – лишь бы его Ариша повеселела. Не понимал, что происходит.

А Ольга, похоже, видела Арину насквозь, но молчала. Лучшая подруга – роднее мужа, – а тема эта была у них – табу. О Николае, о Ромаше, об отношениях с ними – сколько угодно! Но об отношениях Ольги с Гузеевым – ни слова, ни намёка. Знала Ольга: Арина не одобрит, потому и молчала, хотя молчание давалось ей с трудом.

Однажды увидела у Арины на тумбочке «Анну Каренину», тонко улыбнулась, вскинула брови: «Интересуетесь?» Арина так выразительно посмотрела в ответ, что Ольга больше не иронизировала, и тему эту не затрагивала.

Объявился Резанцев неожиданно. Был очередной марамоновский четверг. В высоких греческих вазах стояли охапки цветущей сирени, в чёрном глянце высоких венецианских окон отражались хрустальные гроздья люстр. Пахло тонким ароматом гаванских сигар, французскими духами, сиренью. Гости по обыкновению спорили, пили шампанское, играли в карты. И вдруг – запоздавшие: Гузеев и Резанцев.

– Здравствуйте, Арина Сергеевна.

Светлые волосы Резанцева упали Арине на запястье, неприлично долгий поцелуй, сладким позором заклеил руку, разбудил дремавший в щёках жар, а сердце, не разбирая дороги, уже понеслось по краю. По тому самому краю, с которого упадёшь и прежней тебе уже не подняться.

А что было потом?.. Потом мир потерял привычные очертания. Арина смутно помнила: подавали мороженое, пили кофе, и Эльвира Карловна без передыху доверительно жужжала на ухо:

– Аркадий-то наш, Бездольный, слышали?.. Нет-нет, не слухи – арестован. За связи с революционерками. А я давно говорила, давно-о... А Роман Борисович! Только вам, Ариша, говорю. Это такой секрет, что... ну, в общем, вы меня понимаете, – переходя на заговорщицкий шёпот, Бергманша совала свой мясистый нос чуть не в ухо Арине. – Человек слишком либеральных взглядов. Мало того, что смутьянов в суде защищает, так ведь сочувствует им. По лезвию человек ходит. И ведь не скажешь по нём – такой душка.

Арина деликатно пыталась ускользнуть:

– Эльвира Карловна, голубушка, вы уж извините, – я на секунду отлучусь, распоряжусь насчёт... неважно, не буду вас обременять своими хлопотами.

И ускользнула! Подобрала над коленями подол белого платья, по ступеням сбежала с крыльца, спряталась в беседке над чёрным ночным прудом. Стояла окутанная душным неподвижным ароматом цветущей сирени, хмурила брови...

Где та умудрённая житейским опытом женщина, какой она была ещё два месяца назад? Где спокойная жизнь, которая казалась олицетворением тоски и скуки? Всё иллюзия. И жизнь, расписанная на будущее по годам, – тоже иллюзия. Что-то не запланировано в ней, чего-то не хватает. Главного! Того самого...

Спаси и сохрани, Господи! И думать нечего!

В сумраке закрипела подсыпанная галькой дорожка... Несёт нелёгкая Эльвиру Карловну.

Арина с плохо скрытой неприязнью оглянулась и пальчиками растерянно потянулась к горлу, отступила, упёрлась в каменную балюстраду беседки.

Резанцев неторопливо подошёл, вынимая из портсигара папиросу.

– Не помешаю?

– Ради бога, с чего вы взяли?

Арина повернулась к нему спиной – смотреть на звёзды в пруду. Резанцев стал рядом, положив на широкую балюстраду серебряный портсигар.

– Курите, – разрешила ему Арина.

– Спасибо. – Он задумчиво мям в пальцах папиросу. – Мне кажется, вы целый вечер ищете возможность побыть одной. Я всё-таки не вовремя.

– Просто хотела на воздух, в доме душно.

– В самом деле – ещё только май, а душно, как летом.

– Да...

Пауза затянулась, и ворвалось в душу не замеченное раньше, – всё вокруг вибрирует от голосов сверчков: и серебристые лунные облака, и листья, и звёзды в чёрной воде.

– Странно, – усмехнулся Резанцев. – Так хочется говорить с вами, а впервые в жизни не знаю, что сказать.

Опустив голову, Арина гладила пальцами чуть шершавую, нагрешую за день балюстраду. Тонкая жилка отчаянно пульсировала на шее.

– Зачем тогда говорить, если не о чём?

Он смотрел, не отвечая, смущая Арину пристальным взглядом. Только спустя несколько долгих секунд, сказал вместо ответа:

– Вы так не похожи на других женщин.

Сердце Арины совсем ошалело. Ей бы повернуться, уйти, но она лишь отошла к другой колонне, стала к Резанцеву спиной. Он бесшумно шагнул вслед за ней, негромко вздохнул.

– С того самого дня, как увидел вас, места себе не нахожу...

И снова пауза. Арина боялась пошевелиться. Что он там? Смутно угадывалось – опустив голову, всё ещё мнёт папиросу... Ну же, говори!

– Я люблю вас, Арина Сергеевна.

А вот теперь бежать... Она порывисто обернулась, – поручик понял это по-своему: роняя из рук папиросу, схватил Арину ладонями за щёки, тёплыми мягкими губами помутил рассудок и торопливо отпустил, будто сам испугался своего порыва. Потеряв без его рук опору, Арина качнулась. Секунду ошарашенно стояла, наконец преодолела гипноз, – вlepила размашистую звонкую пощёчину, задыхаясь, побежала к дому.

Сразу у дверей гостиной Арина попала в круг разновозрастных дам. Эльвира Карловна, ожесточённо обмахивая веером раскрасневшееся лицо, схватила её под руку.

– Всё выяснилось. Недаром говорят: нет ничего тайного, что не стало бы явным. – Эльвира Карловна опасливо оглянулась на компанию повязанных голубыми нитями табачного дыма мужчин, понизила голос: – Выяснилось, кто тайная любовь поручика Резанцева. Актриса

Пичугова! Представьте – с ума от неё сходит! А вы видели её вблизи? Шея в складках, под глазами – круги. Возраст тщательно скрывает, но – лет тридцать пять, самое малое... Да что с вами, голубушка, – вы вся прямо не в себе!

– Всё хорошо, – Арина деликатно стала высвобождать свой локоть из руки Эльвиры Карловны. – На прислугу разозлилась. До чего нерасторопны – сил моих нет.

Рассеянно улыбаясь гостям и с трудом сдерживаясь, чтобы не перейти на бег, Арина поднялась к себе, бросилась грудью на застланную кружевами кровать. Минут пять она не могла унять дрожь в руках, потом села на краешек кровати. Отчего-то было страшно. Будто жизнь вот-вот покатиться в тартарары.

Николай Евгеньевич деликатно постучал в дверь, вошёл.

– Ариш, что случилось? Прошла мимо, даже головой на оклик не повела.

Арина рванулась к нему, обняла, словно призывая защитить.

– Ариш, да что с тобой? Ты вся дрожишь.

Муж прижимал её к себе, гладил по волосам, но его большие родные руки сегодня не могли успокоить, они потеряли свою обычную утешительную силу. Теперь никто не поможет – только сама! И Арина вдруг отстранилась от мужа – внешне спокойная, уверенная в себе. Поправила за ушами волосы.

– Обычная хандра, Ники. Пройдёт. Ты иди к гостям, я сейчас спущусь...

Ночью, когда гости разошлись, Николай Евгеньевич по обыкновению пришел пожелать спокойной ночи.

– Ариша, да что, в конце концов, происходит? Ты последнее время сама не своя.

– Ники, ты обещал, поедем на Ривьеру.

– Позже, котёнок, ты же видишь, какие у меня проблемы. Все планы изменились.

– Когда позже?

– Не раньше августа, золотая моя.

– Я устала, давай я поеду сейчас, а ты меня догонишь. Если я буду там, то и ты быстрее приедешь. Глядишь, раньше со своими делами управись.

Николай Евгеньевич вместо ответа склонился, целуя её в губы. Арина поспешнее, чем позволяли приличия, отвернула голову.

– Нет, Ники, не сейчас. Я очень устала.

Ушла на зов сверчков, к раскрытому в ночь окну, стала в волнах обеспокоенной сквозняком занавески.

Николай Евгеньевич обиженно пожал плечами:

– Неделю назад ты говорила то же самое, и месяц назад. Если не сейчас, то когда? Через месяц? Через полгода? Через год?

Арина порывисто обернулась от окна:

– Ну почему у вас, у мужчин, всё сводится к одному? Неужели это самое главное?

– Ариш, когда два человека любят друг друга...

– Да-да, понимаю. Конечно! – Она схватилась пальчиками за виски, замерла, склонив голову. – Я просто расхандрилась. – Отбилась руками от взвившейся занавески, пошла к кровати. – Извини, мне нужно отдохнуть. Это само пройдет.

Легла, свернувшись калачиком, жалостливо сложила у подбородка кулаки. Муж присел к ней на краешек постели.

– Может, тебе действительно поехать на Ривьеру одной? Супругам надо иногда отдыхать друг от друга. Месяц-другой отдохнёшь от меня, а там и я приеду. Давай-ка оставим это на завтра, котёнок. Утро вечера, как говорится... – И склонился, целуя в лоб. – Спокойной ночи.

Ушёл было, но вспомнил – просунул за дверную портьеру руку, выключил свет, осторожно прикрыл за собой дверь.

Глава 7

Лето 1914 года.

Известие о начале войны всколыхнуло сонный город. Шумными базарными толпами горожан крутило на площадях и перекрёстках. Несли блестящие на солнце хоругви, пели «Боже царя храни», бросались качать на руках встречного офицера, – бедняга ловил руками воздух, падала фуражка. Бесконечное «ура!» раскатывалось от площадей в каменные щупальца улиц и проулков.

Блестела медь военных оркестров, «Прощание славянки» до озноба пробирало души. В церквях служили молебны за победу русского оружия. В облаках знойной пыли со всех сторон стекались к городу сопровождаемые воинскими и полицейскими чинами серые колонны запасников.

А на вокзале уже дико свистели готовые к отправке паровозы, кидались к небу струи белого пара. Ветер сметал с заплёванного перрона на промасленные шпалы окурки и подсолнуховую шелуху, трепал углы небрежно приклеенных к стенам листов царского манифеста, хлопал над головой трёхцветным флагом.

Толпа увлекла за собой Любку, да девушка и не сопротивлялась, только сильнее прижимала к боку корзинку, прикрытую пучками купленной на базаре зелени. Здесь, на Мещанской, толпа была совсем не та, которую Любка видела полчаса тому назад перед Успенским собором, – та толпа была чинная, опрятно одетая и не кричала, не ругалась матом, – она сдержанно гудела. Та толпа была из хороших городских районов, а с этой, что взять? – Кривая Балка!

Вокруг Любки кричали, пихались локтями, толкались.

– К Бергману давай!

– Насосался русской кровушки!

– Громить его, немчару!

С трудом втискиваясь в узкий проулок, толпа густела, вязко перетекая с Мещанской на немецкую. Зажатая со всех сторон, Любка и сама уже воинственно кричала, грозила кулаком, тёрлась о чьи-то спины. Она не видела лиц: перед глазами мельтешили только затылки, сальные воротники, небритые щёки, но все эти безвестные безликие люди уже казались ей давними знакомыми. И парень, чёрный масляный рукав которого всё время тёрся об её плечо, и насквозь пропитанная тошнотворным селёдочным запахом торговка из рыбного ряда, и обладатель хриплого немолодого голоса, который дышал Любке в затылок водочным перегаром и криком советовал кому-то в первых рядах:

– И Адольфа и его толстомясую немку голышом выпустить на улицу. Пусть потрясут салом, пусть покажут, сколько жира накопили на горбу русского народа.

Вставая на цыпочки, Любка глянула в первые ряды, и из всей толпы явилось ей первое лицо – Максим Янчевский. Плечом стала втискиваться между жаркими потными телами, выдёргивала вслед за собой корзину, из которой падали зелень и овощи. Хлюпали и брызгали семечковой мякотью раздавленные ногами помидоры. Любка перекрутилась задом наперёд, кофта выбилась из-под пояса, платок калачиком скатался вокруг шеи.

Протиснулась. Потянула Максима за собранную под ремень косоворотку.

– А, принцесса с мусорным ведром, – улыбнулся парень. – И ты здесь? Не боишься?

– А чё бояться-то? – радостно кричала в ответ Любка.

– А ну как полиция заарестует? Вон, видишь, стоят.

Максим кого-то отпихнул плечом, покровительственно освобождая Любе место рядом с собой, постучал пальцем, показывая наколку на правой руке: кораблик клонится на ветру, парус надулся голубиным зобом, остренькие волны вокруг.

– Со мной не пропадёшь. Если что – на этот кораблик сядем и от кого хочешь уплывём. – Хитро улыбнулся, подмигнул. – Ладно, не бойсь, никого они не тронут. Если хотели бы, давно бы всех разогнали. Ведь знают, что идём магазин громить, а молчат.

– А чё за кораблик?

– Это не кораблик, Люба, – мечта. Человек без мечты – пустое место.

Из проулка вытиснулись на просторную Немецкую, свободно расправили плечи, хоругви на свободе взвились выше. Любка вместе со всеми истоиво крестилась на купола Дмитровского монастыря. Кто-то затянул гимн. Толпа подхватила тысячью голосов – мощно, сильно, до торжественного озноба. Любка безжалостно рвала охрипший голос: «Боже царя храни, сильный державный, царствуй на славу, на славу нам!»

Не успели ещё гимн закончить – кто-то с протяжным скрипом вырвал из стены табличку с названием улицы, бросил на булыжную мостовую вверх согнутыми когтистыми гвоздями, белыми от известкового порошка.

– Была Немецкая – стала Безымянная.

– Русская стала!

Грянуло нестройное «Ура-а!..», и в ответ ему на противоположной стороне улицы вырвали ещё одну табличку, обнажая на полинялой фасадной краске яркий девственный прямоугольник, отмеченный по углам отколотой штукатуркой и гвоздевыми отверстиями. Жестянки с номерами домов тоже полетели на булыжную мостовую, будто и в них было что-то немецкое. Пока баловались табличками, дошли до магазина Бергмана.

Откуда-то появились камни – горячие, гладкие, их передавали из рук в руки. Максим подружески сунул Любке в руку булыжник – как последним куском хлеба поделился.

На одной половине магазина прислуга уже успела опустить железные жалюзи, другая соблазнительно блестела зеркально чистой витриной. Яркое солнце вдруг раскололось в тяжёлом витринном стекле, рухнуло острыми краями.

Свист, звон, дребезг.

Оскалилась стеклозубая пасть разбитой витрины. Становясь друг другу на плечи, полезли сбивать вывеску магазина. Хрустя битым стеклом, ринулись в магазин, и только тут сшиблись в пронзительной переключке свистки проснувшихся городских. Любку отёрли от Максима, и рядом с ней вдруг обнаружился обладатель хриплого голоса, который всю дорогу дышал ей в затылок водочным перегаром:

– Бергмана нам давай! Всё ему припомним!

В ответ кто-то кричал в другое Любкино ухо:

– Будет он тебя ждать! Давно сбежал. Говорят, у Марамоновых в особняке отсиживается. Крики, гам, улюлюканье.

Свистки городских и упоминание о хозяине отрезвили Любку. Она с ужасом заглянула в почти пустую корзину и, зло вклиниваясь плечом, стала пробиваться вон из толпы...

Дома Любка поставила под кухонный стол корзину, в которой осталась только морковь, да пара свёкл на дне, скривила в плаче лицо, захлёбываясь, стала рассказывать Глафире: мол, попала ненароком в самую толпу. Все какие-то бешенные. Налетели, на землю повалили, помидоры потоптали. Еле вырвалась.

Приврать приврала, а плакала искренне, от испуга. Пока шла домой, кураж исчез, и теперь ей казалось, что все уже знают о её участии в погроме, что ещё чуть-чуть – и наступит неминуемая расплата.

– Ладно, не хлюпай, – миролюбиво сказала Глафира. – Хорошо, что обошлось. К хозяину Бергманша приехала, до смерти перепугана. В магазине у неё погром, а Адольфа Карловича до сих пор нет. Уж и не знает, жив ли?

Любка обмерла, только робко облизывала солёные от слёз губы... Ой, не зря Бергманша приехала! Неужто прознала?

Едва Глафира вышла в столовую, Любка кинулась к иконе, бухнулась на колени: «Прости, Господи!»

Глава 8

Папироса, с которой Николай Евгеньевич делил своё нетерпение, полетела в урну.

– Извините, господа.

Оставив у входа в вокзал случайных своих собеседников – пристава и начальника станции, он пошёл навстречу прибывающему поезду. Горячий августовский ветер волок по людному перрону редкую рябь подсолнуховой шелухи, белой рванью рассеивал шипящий паровозный дым.

На втором пути провожали воинский эшелон. Сквозь чих паровоза слышны были переборы гармоники, топот ног, лихие частушки.

Арина заметила мужа издали, – на голову выделялась в толпе его статная фигура. Замахала ему с подножки вагона ладонью. Поднимая над головой букет роз, Николай Евгеньевич пробивался к ней: обходил тележку грузчика, у кого-то просил прощения. Ему недоумённо смотрели вслед, удивляясь глупой счастливой улыбке, которая так не вязалась с обликом все-сильного Марамонова.

– Ариша, родная. – Николай Евгеньевич склонился головой под широкие вислые поля белой дамской шляпы, целуя жену и в одну щёку и в другую. – Как я по тебе соскучился!

Арина устроила подбородок на его плече, крепко обняла, замерла, боясь потревожить исходящее от мужа ощущение родного тепла. Их толкали, извинялись, просили посторониться, а они стояли, не замечая никого вокруг.

Николай Евгеньевич наконец отстранил от себя Арину, суетливым от счастья взглядом изучая её лицо:

– А я неделю места себе не нахожу. Так переживал, похудел даже. Вокруг война, а ты – через всю Европу. Приезжаю на вокзал, – расписания поездов больше нет: отправляются когда хотят, приходят когда хотят. Не знал, что и думать.

– Рассказать тебе все мои приключения, дня не хватит, – рукой, затянутой по локоть в тонкую белую перчатку, Арина заботливо сняла с мужниной щеки упавшую ресницу, лукаво прищурила глаза. – Цветы мне?

Он спохватился, встряхнул букет, чтобы освежить его.

– Конечно, тебе. Извини, всё в голове смешалось. Твои любимые розы.

– Красивые.

– Вот приедем домой, уложу тебя на диване, сяду у твоих ног, и будешь рассказывать мне все свои приключения.

Широко раскрыв глаза, Николай Евгеньевич покачал головой, будто не верил такому счастью, склонился целовать Ариныны пальчики, унизанные золотыми перстеньками поверх перчатки.

– Как я по тебе соскучился, – будто вечность прошла, а не каких-то два месяца. Я совсем уж было собрался к тебе ехать, а тут – эта война. Вчера только из Петербурга вернулся – будем на нашем заводе снаряды делать. Боже, как я по тебе соскучился... Ну идём, идём... Носильщик... будь любезен.

Николаю Евгеньевичу отдавали честь полицейские и военные чины, уважительно снимали шляпы штатские господа, – кому-то он отвечал, кого-то по рассеянности не замечал. Остался всё тем же – вся его уверенность в себе, вселяющий трепет взгляд, властность жестов, рядом с Ариной странным образом исчезали, и он зачастую выглядел растерянным как гимназист.

Прижимаясь друг к другу, пошли к выходу с перрона – через суету, крики, гам. Вдоль стоящего чуть поодаль состава, голова которого терялась за пакгаузом, шевелились солдатские

спины, наискось охваченные колёсами скатанных шинелей; отдельными группами стояли офицеры и провожающие их дамы.

Завыл паровозный гудок, зазвучали команды:

– Кончай пляску!

– Первая рота! По вагонам!

– Шевелись, шевелись, в Берлине допляшете!

Среди офицеров мельком померещилось Арине лицо Резанцева. Едва удержалась, чтобы не оглянуться. Усмехнулась, теснее прижимаясь к Николаю...

Всё сон! Забытый, никому не нужный сон.

Два месяца провела Арина на Лазурном Берегу, в одном из тех немногих заграничных мест, которые буквально пронизаны русским духом. Там на каждом шагу слышалась родная речь, звонили к обедне колокола православных церквей, а на набережных прогуливался весь петербургский свет.

Два месяца среди солнца, улыбок и чужого счастья. Даже чахоточные больные, которым жить осталось, может быть, считанные месяцы, и те казались счастливыми, а Арина – в тоске, будто рассталась не только с Николаем, но и с самой собой. А ведь всё было для счастья: молодость, красота, обеспеченность... Попробуй пойми саму себя и эту странную жизнь.

К июню, совсем измаявшись, Арина собралась ехать домой, но пришло письмо от Николая: заканчиваю дела, скоро буду в Ницце, жди. Потом случилось сараевское убийство, в Европе становилось беспокойно, а приезд Николая всё затягивался. И вдруг телеграмма: «Не жди. Срочно возвращайся домой». Срочно не получилось – попала в предвоенную европейскую суету, а домой добралась уже после объявления войны.

– Я, Ариша, вот что задумал, – говорил Николай Евгеньевич, когда они выбрались из толпы и вышли на привокзальную площадь. – Давай-ка переедем мы с тобой в наш городской особняк, а загородную резиденцию отдадим под госпиталь. Конечно, здесь в городе всё не то: и ветер не так свеж, и небо ниже, и звёзды не такие яркие, но надо жертвовать привычками и уютом. Война, судя по всему, затянется. Среди местных военных эйфория – полны решимости закончить войну в полтора-два месяца, а в Генеральном штабе поговаривают о годовичном сроке, о возможных больших потерях и о том, что раненых – страшно сказать – будут десятки тысяч. Я и подумал, – ты у нас натура деятельная, рвёшься в дело, вот и возьми на себя хлопоты по организации госпиталя. Как тебе идея?

Арина прижалась к нему сильнее.

– Я готова. Прямо сейчас. Только...

– Не бойся, у тебя всё получится. Я тебе помогу.

Едва уселись в авто, расхлестался летний ливень. Шофёр в клетчатом английском костюме, в гетрах и кепке засутился, поднимая откидной верх. И всё же успели промокнуть.

По кожаной крыше звучно секли струи дождя. На перекрёстках бросались под колёса трамвайные рельсы, дрожь пробегала по всему автомобилю. Босоногие мальчишки, вылизанные дождём, как новорожденные щенята, перебежали дорогу, заставляя шофёра яростно квакать автомобильным клаксоном.

Арина рассеянно смотрела на город, искажённый бегущими по лобовому стеклу потоками, а мыслями была уже дома – переставляла мебель, освобождала комнаты, прикидывала, где будут палаты, где операционная, где процедурная.

– Ники, а врачи? А сёстры?

– Узнаю тебя – уже загорелась новым делом. – Николай Евгеньевич со счастливой улыбкой человека, угадавшего в выборе подарка, обнимал её, щекотал усами шею. – Не волнуйся, врачи у тебя будут самые лучшие. А ещё я задумал организовать санитарный поезд, так сказать, госпиталь на колёсах. Сами будем раненых прямо с фронта привозить.

Арина благодарно потерлась щекой об шевиотовое плечо мужниного пиджака...

Как могла она не видеть, что любит этого родного человека? И что с ней было два месяца назад?.. Досадливо прикрыла глаза... Бред, чуть не стоивший ей семейного счастья.

Скоротечный гром укатился куда-то вперёд и как ни крути баранку шофёр, как ни квакай клаксоном – уже не догнать его. А вот и солнце выглянуло, отлило серебром последние капли дождя. Чёрный капот автомобиля заблестел, как крышка ухоженного рояля.

Умытая Александровская светилась мокрыми вывесками и витринами: кондитерская Карташова, аптека Фридмана, кафе «Монмартр», синематограф «Одеон». И радуга – скупая, линиялая – где-то далеко за черепичными крышами упёрлась краем в золотые купола Дмитриевского монастыря.

Ах, скинуть бы туфельки, приподнять подол платья и – по лужам, вслед за мальчишками! Чтобы солнечные брызги из-под босых пяток летели выше головы.

Бывает же так хорошо!.. Даже далёкая, не осознанная ещё война, с её страшными десятками тысяч раненых, не в силах притупить этой безответственной, эгоистичной радости.

Арина поёрзала, втёрлась Николаю под мышку и, устроив у него на груди голову, счастливо улыбнулась.

Нет, всё-таки есть на свете счастье. Теперь точно известно – есть!

Глава 9

Осень 1914 года.

Максим стоял посреди госпитального двора – беспоясный как арестант. Иногда он терял равновесие, топал пыльным сапогом как человек, со всего маху промахнувшийся мимо ступеньки, и снова пьяно качался на широко расставленных ногах, будто ловил подошвами зыбкое дно идущей по волне лодки.

– Анюта-а! – пьяным голосом орал он, задирая встрепанную голову к окнам второго этажа. – Аню-ут!

Уже несколько раз санитарки просили Анюту, чтобы вышла, утомонила парня, но девушка пренебрежительно отмахивалась: «Скажи – занята. Нет никакой возможности, скажи». Анюте было не до Максима: она теперь работала сестрой в марамоновском госпитале, а во второй палате у неё лежал молодой поручик, которым уже несколько дней девушка была не на шутку увлечена.

Максима пытались отвадить и дежурная сестра и дворник, а теперь и Любе пришлось отбиваться от него, – вышла с ведром воды вымыть крыльцо, и попала в цепкие пальцы.

– Любка, Богом молю, – просил Максим, хватая рвущуюся от него девушку за серый госпитальный халат. – Позови её.

– Отпусти, порвёшь. – Любка силой рвала из его рук холщовую полу халата.

Теряя равновесие, Максим заплетался ногами, но пальцев не разжимал.

– Позови!

– Занята она... на операции... Да, отпусти же!

Девушка наотмашь хлестнула парня мокрой тряпкой из грубой мешковины. Грязные брызги отлетели от безвольно мотнувшейся головы Максима. Любка испуганно шмыгнула в вестибюль. Закрыла перед носом парня дверь, прислонилась спиной и в ту же секунду отлетела от дверной створки. Опрокинув ведро, распласталась на мраморном полу в луже грязной воды.

Нелепо размахивая руками и срываясь ногами со ступеней, Максим кинулся на второй этаж и вдруг с тупым видом замер: навстречу ему спускалась Ольга Васильевна Грановская – заместительница Марамоновой по госпиталю.

– Ну? – строго спросила женщина, остановившись на середине лестницы. – Могу я узнать, что здесь происходит?

Максим полез пальцами в спутанные волосы, – снимать картуз, а тот еще на улице слетел с головы. Скрюченными пальцами зачесал на лоб чёрные кудри.

– Мне бы это... Мне бы с Анютой попрощаться... На войну забирают.

– Сюда не полагается. Ждите у ворот, ей передадут, если, конечно, она захочет видеть вас в таком состоянии.

Из палат вышли на шум два молодых выздоравливающих офицера. Перегнувшись через мраморную балюстраду, глянули на Максима, многозначительно переглянулись между собой.

– Все в порядке, господа, – успокоила их Грановская. – Он сам уйдет.

С величавым безразличием повернулась, пошла к себе в кабинет.

– Зовите сейчас... – заартачился Максим. – Никуда не уйду.

Грановская остановилась на полушаге и после секундного раздумья утвердительно кивнула в ответ на вопрошающие взгляды офицеров. Молодые люди с готовностью спустились по лестнице, ухватили упирающегося Максима под руки, выволокли во двор, грубо швырнули лицом в землю.

То ли от удара, то ли от самогона Максима развезло окончательно. После нескольких безуспешных попыток встать на ноги, он бессильно сел, размазывая по лицу кровавые сопли.

Впервые видела Любка сильного и уверенного в себе Максима таким беспомощным. Так разжалобилась – чуть не заплакала. Кинулась поднимать.

– Вставай... ну чаво же ты...

В коренастом теле силенок оказалось достаточно, – прикусывая от натуги губы, она подняла парня, повела к воротам. Причитая и уговаривая Максима, падая вместе с ним и плача от отчаяния, Любка час тащила его на себе до слободы. Максим бормотал что-то несурзное, и только иногда в нечленораздельном его мычании можно было разобрать угрозу Анюте.

У Марьиного родника Любка сунула Максиму два пальца в рот, облегчила его, окунула головой в холодную ключевую воду. Парень оклемался, пошёл своим ходом.

Когда дошли до слободы, в одном из крайних домов слышались хмельные крики, лихие звуки гармоники, ухарский смех, – по всей слободе в тот день провожали в армию новобранцев.

Услышав шум буйного застолья, Максим потянул упирающуюся Любу в калитку. Напрасно девушка цеплялась за забор, – пьяные парни, друзья Максима, втянули её во двор.

Под жёлтым облетающим клёном был накрыт стол – уже не свежий, разбитый хмельным хаосом. Стаканы опрокинуты, ломти хлеба размокли от пролитого самогона. В мисках – остатки квашеной капусты. На затёртой розовой клеёнке – куриные кости, лужи рассола, белые огуречные семечки.

Любке налили в гранёный стакан самогона, протянули на закуску надкушенный солёный огурец. Отчаянно жмурясь, Любка залпом выпила в надежде на то, что парни отстанут и дадут увести Максима. Но напрасно старалась она и тянула Максима домой, – парень цеплялся за углы клеёнки, за рукава хмельных парней, за разваливающуюся поленницу дров.

Потом наливал в стакан самогона, обещая, что если Любка выпьет, он безропотно пойдёт домой. Любка пила, а Максим лишь смеялся в ответ на её призывы выполнить обещание. Плясал под гармонику и пьяное улюлюканье, падал, опрокидывая длинные деревянные лавки.

Вскоре и у Любы стало туманиться в голове, события пошли, стыкуясь одно с другим вразнобой, как военные составы, в которых, минуя логику мирного времени, вагоны первого класса цепляют к теплушкам, к платформам, к цистернам.

Уже ночью была какая-то потасовка, опрокинутый стол, рваная гармонь. С треском падала сложенная под самую крышу дощатого сарая поленница. Потом мать Максима со слезами на глазах уговаривала сына пойти домой. И уж потом-потом был тёмный, заваленный бараклом сарай, в котором пахло промасленным железом, керосином, свежей древесной стружкой.

Под ногами путались какие-то верёвки, били по носу подвешенные к потолку пустые корзины, с грохотом падал на пол ящик со слесарным инструментом. Максим, грубо ткнув безвольную Любу лицом в дощатый, заросший липкой паутиной угол, задрал ей сзади юбки, коленом стал нетерпеливо раздвигать испуганно сжатые ноги.

Последнее, что запомнилось – звезда в прохудившейся крыше сарая... Кружилась звезда вместе с крышей в чёрном бездонном водовороте и никак было не понять – сон это или явь...

Хотя, что здесь не понять? Конечно, сон. Неправдоподобный глупый сон.

Правда только то, что в узкие дощатые щели светит утреннее солнце и в его плоских широких лучах вязко текут густые золотые пылинки... И корзины в сумраке над головой – правда. И воркующие под стрехой голуби! И... Максим!

Воспоминания начали собираться – вагончик к вагончику. Кое-что со вчерашнего вечера они вывезли. В другое время Люба ужаснулась бы, остолбенела бы от такой правды, но заторможенный похмельем ум обречённо принимал обрывки воспоминаний как неизбежное. Девушка тяжело села, сняла с головы клок сена.

Пылинки, вмиг потеряв вязкость, суетливо завертелись в солнечных лучах. За дощатой стеной заклохотали куры, зафыркали лошади, кто-то прошёл, тревожа своей тенью солнечные лучи и заставляя их трепетать, как в синематографе.

Голос строгий до мурашек по коже ворвался сквозь щели:

– Шевелись, Грищенко. Последний двор, а у меня пятерых по списку не хватает.

– Тута они, вашбродь, – ответил голос какого-то ретивого служаки. – Впвалку спят.

Раздался плеск выхлестнутой воды, испуганный всхлип, жестяной дребезг брошенного ведра, и тот же голос, уже с весельцой, прикрикнул:

– А ну, соколики, подъём! Жаль воды маловато, а то бы я вас!.. Давай-давай, с карачек-то поднимайся.

Любка испуганно растолкала Максима.

– А? – сонно всхлипнул парень и удивлённо выпучил на Любу тупые, похмельные глаза.

– Вставай...

Максим перевёл удивлённый взгляд на висящие над головой корзины, тяжело встал на четвереньки.

– Чего это?

– А сам не знаешь, чаво? Пристав вона на улице со стражниками. Парней собирают.

– Японский бог... – Максим тяжело поднялся с колен, огляделся. – Ни хрена себе, – распихал руками висящие корзины. – Выход-то где?

Когда он нашёл-таки дверь и открыл её в обрамлённое жёлтыми листьями голубое небо, Любка испугалась, – спотыкаясь о хлам, бросилась вслед за парнем:

– Максимушка, а как же я?

С теневой стороны покошенного сарая было сыро. Серые дощатые стены оцвели понизу зелёным мхом, заросли бурьяном. Почерневшая бочка до гнилого искрошенного края полна дождевой водой и жёлтыми опавшими листьями. Испуганная курица взлетела на гору рухнувшей вчера поленницы.

Максим выпустил из брезгливо сложенных губ растянувшуюся до самой земли липкую нить слюны.

– А что ты?

– Ну, как же... Аль не помнишь ничего?

Максим отпихнул сапогом полено, шагнул к бочке.

– Будешь тут помнить, как же...

– Совсем не помнишь? – с наивной детской надеждой Любка вытянула шею. – Ну, ты и я... Максимушка?

Парень презрительно фыркнул, передразнил: «Максимушка!». Окунул голову в бочку. Над его затылком сомкнулись мокрые кружева кленовых листьев, серебристо задрожало отражённое небо. Любка жалко скривила лицо, без слёз всхлипнула.

Через минуту, когда она уже испугалась, что парень задохнётся, Максим с жадным вздохом выдернул из бочки голову, по-собачьи встряхнулся, поливая Любу водяными струями с концов мокрых слипшихся волос. Отдуваясь, утёр лицо, шмыгнул носом. Рёбрами ладоней разогнал в стороны листья, жадно припал губами к застоявшейся зеленоватой воде.

За сарай заглянул усатый ухмыляющийся стражник.

– А вот ещё один соколик, – дёрнул плечом, поправляя ремень карабина; весело сдвинул на затылок фуражку. – Что, рожа похмельная, горит нутро? Ничего-ничего, скоро тебя уму-разуму научат. Шевелись, давай.

На улице стояла вереница телег, в которых сидели и лежали призывники. Галдели провожающие, слышались бабьи причитания, звучала гармоника. Самые стойкие парни ещё горланили частушки, но уже хрипло, без огня. Кто-то уронил на гармонику голову, – выпущенные из руки мехи похмельно поползли с телеги, растягиваясь до самой земли. Забытые на клавишах пальцы извлекали бьющие по ушам несуразные звуки.

В лёгком конном экипаже курил пристав. Рядом, уперев ногу в подножку экипажа, придерживал на колене лист бумаги урядник.

– Янчевский? – строго спросил он Максима, обсасывая кончик химического карандаша. Услышав положительный ответ, кивком головы указал на стоящую рядом телегу и, старательно высунув подсиненный язык, поставил на листе жирную галочку. – Всё, последний.

Пристав бросил папиросу, махнул рукой вдоль кленовой аллеи, соединяющей слободу с городом.

– Трогайте.

Максим сидел на задке телеги, обнимая собранный матерью узелок, похмельно свесив на грудь мокрую голову. Мать с причитаниями шла за телегой. Любка, не стесняясь ни его матери, ни других людей, с похмельным отупением растолкала причитающих женщин, бросилась к Максиму. Он, как пиявок, отцеплял от своей шеи её руки.

– Да отпусти ты... Пусти, говорю, – грубо отпихнул Любку, повалил её на дорогу. – От шалава! Прицепилась.

Упавшую Любку объезжали телеги, обходили люди, и вскоре она осталась на дороге одна. Поднялась из мучнистой дорожной пыли, размазала по лицу слёзы.

День был такой же, как год назад, во время первой встречи с Максимом, – засыпанный жёлтыми листьями, обкуранный пахучими бело-голубыми дымами. Пронизанные серебристыми нитями паутины, лучи угомонившегося солнца косо сквозили в полу облетевшей аллее. Любка сгребла рукой палую листву, зло швырнула вслед телегам, – листья закружились в солнечных лучах как тогда, когда Максим кидал их с крыши.

Утёрла рукавом кофты мокрое лицо, смачно плюнула вслед листьям, зашагала к слободе, поправляя на ходу юбку.

Глава 10

Хмарная осень плелась низко над самой землёй. Город ёжился от дождей и туманов, уменьшался до размеров отдельно взятого двора, крохотного сквера, булыжного перекрёстка, и казался в те дни железно-каменным. В лужах дрожал тусклый оловянный отсвет низкого неба, под ногами слоилась шелуха листовая ржавчины, мокрые деревья казались отлитыми из того же чугуна, из которого отливали на марамоновском заводе массивные кружевные решётки городского сада и фонарные столбы. На весь туманный город слышно было, как визжат на товарной станции паровозы.

В тот день вернулся с фронта марамоновский санитарный поезд. Арина сама следила за тем, как снимают с поезда раненых, как размещают их в санитарных фурах и автомобилях, чтобы развезти по городским госпиталям. Только к вечеру, отправив состав на санитарную обработку, она вернулась в госпиталь.

Раненых офицеров с поезда уже осмотрели и разместили в палатах. Несмотря на усталость, Арина пошла на обход. Сопровождая её по палатам, доктор Андрусевич, – ещё до войны ходила о нём слава как о лучшем хирурге города, – коротко докладывал:

– Подполковник Вечинов, ранение средней тяжести... я приказал на завтра готовить к операции... Ротмистр Кохановский...

Арина от усталости не замечала лиц, монотонный голос доктора порой уходил от её сознания, сменяясь собственными мыслями.

– ...поручик Резанцев Владислав Андреевич, контузия, сквозное ранение...

Арина испуганно вскинула взгляд на офицера, и глаза её, в поисках спасения, побежали за окно, – туда, где в осеннем сквозистом парке последние берёзовые листья отчаянно бились на ветру, как стая жёлтых бабочек на привязи.

– Здравствуйте, Арина Сергеевна.

– Здравствуйте...

Ладонь вспомнила ту давнюю пощёчину, – Арина спрятала руку в карман белоснежного халата, чтобы мять там какую-то попавшуюся под пальцы бумагу. Может, важную, может, завтра будет искать её... И вдруг сердито цокнула по паркету тонким французским каблучком, обернулась к бывшей своей горничной Анюте, которую буквально на днях назначила сестрой-хозяйкой:

– Что это такое? – указала глазами на блестящие на белом подоконнике лужицы воды, комочки пепла, прилипший берёзовый лист. Видимо, надождило, пока курили у окна. – Чтобы в последний раз, Анюта!.. Извините, доктор, на чём мы остановились?

Бедная бумажка в кармане скаталась в тугой шарик. Арина раскраснелась, рассеянно кивала...

– Рана гноится? Приняли меры? Хорошо, доктор... Я надеюсь, поручик, вы у нас быстро пойдёте на поправку...

И, не дослушав доктора, шагнула к следующей койке. Что-то спрашивала у раненого офицера, что-то у доктора, – не помнила, не слышала, только сердце под халатом дрожало, как те листья в парке...

Несмотря на то, что в этот день у неё не было дежурства, Арина осталась ночевать в госпитале. Бывшую её спальню во время ремонта разделили стеной надвое: в одной части теперь был кабинет, в другой – небольшая спальня с кроватью, трельяжным столиком и гардеробом. Здесь Арина спала, когда допоздна задерживалась в госпитале.

А задерживалась часто. Она не могла быть просто патронессой, – считала себя обязанной ощутить весь ужас госпитальной работы. Пройдя ускоренные курсы сестёр милосердия, сама ассистировала на операциях, выносила из операционной ампутированные руки и ноги, ночами

дежурила в палатах и, преодолевая выворачивающие нутро позывы к рвоте, убирала из-под раненых утки. Николай Евгеньевич поначалу ворчал, сердился на эти ночные дежурства, на то, что жена неделями не ночует дома, но вскоре махнул рукой, смирился.

Два дня после поступления Резанцева Арина избегала заходить к нему в палату, даже перенесла своё ночное дежурство. И в разговорах с персоналом старалась не проявлять к поручику большего интереса, чем к другим раненым. Расспрашивала о нём как бы невзначай, пренебрежительно, мимоходом. Но когда у раненого начался кризис, перестала себя сдерживать: выспрашивала у доктора Андрусевича подробности, ночами посылала в палату дежурную сестру, да и сама не раз подходила к палате, тайком глядя в приоткрытую дверь на спящего Резанцева.

Осенняя луна сквозь голые ветви сада и мокрое голубоватое стекло беспрепятственно заглядывала в палату, свет её лежал наискось через кровать Резанцева, кидая синие тени в складки простыни, освещая коротко стриженные светлые волосы, потный лоб, откинутый вверх подбородок. В приоткрытую дверь тянуло острым и грустным запахом осени, – ароматом стоящих на тумбочке чуть влажных, ещё не высохших от дождя хризантем.

Зачарованная этим запахом и осенней грустью, Арина стояла, прислонившись лбом к двери, боясь неосторожным движением или непрошеной мыслью спугнуть свои чувства. Но в конце коридора плыл бордовый керосиновый свет, возвращалась отлучившаяся с поста сестра, и Арина, в бесшумных домашних тапочках, уходила к себе в кабинет. Кутаясь в пуховый платок, садилась в угол дивана, вздыхала. Опять бессонница.

На третий день дело пошло на поправку. Анюта, входила в кабинет, заговорщическим голосом сообщая: «Сегодня аппетит появился, поел немного. Папиросы просил, – не дала. Всё равно втихаря курил на балконе».

Насквозь пропахший лекарствами доктор Андрусевич при встречах, как бы по секрету, успокаивал: «Кризис миновал, организм молодой, день-два – и бегать будет». Арина оказалась в центре какого-то заговора, когда все понимали происходящее лучше, чем она сама.

В одну из ночей расходилась гроза: гремела, сверкала, стучала в окна голыми ветками, а в госпитале улеглась суета, погасли одно за другим окна, и только у дежурной сестры, да в кабинете у Арины горел керосиновый свет. Второго дня ветер оборвал электрические провода, – приходилось перебиваться керосинками.

Темнота плотно обступала лучистый шар света вокруг экономно прикрученного фитиля. Кутая плечи в платок, Арина разбирала ворох госпитальных бумаг. Постукивая металлическим пером о дно чернильницы, одни бумаги подписывала и клала на правый угол стола, другие без подписи – на левый.

Задумчиво задержала перо над чернильницей. Снова ей навязчиво мерещилось лицо Резанцева – бледное, осунувшееся, с незнакомыми складками у рта. Ни тени бывшего гвардейского блеска. А сердце ёкает сильнее прежнего.

Арина бросила ручку в чернильницу, уронила голову на сложенные поверх бумаг руки. Ей примерещилась ночная зимняя улица, падающие из окон на тротуары полосы света, звон извозчичьих бубенцов. И совсем близко от лица – поручицьи погоны, молодая упругая щека с напряжённой от мороза чуть приметной вечерней щетиной.

У Арины вдруг возникло ощущение прикосновения к шершавой мужской щеке. Память, оказывается, не только в голове, она во всём теле, теперь вот – в кончиках пальцев. Откуда это? У Николая шелковистая борода. Может, от отца, из раннего детства?..

Сколько память ни напрягай, не вспомнишь, а в кончиках пальцев – вот оно! – будто вчера было. И сколько ещё этих ощущений на подушечках пальцев: клейкая от трескучего мороза металлическая ручка чистилки для ног у входа в гимназию, мнущийся под пальцами воск церковной свечи, радостная упругость собственного тела...

Мысли увязли в дрёме, как ноги в глубоком снегу, потом рассыпались, освобождая от последней связи с реальностью. Но забылась Арина ненадолго, – через минуту встряхнулась от раздирающего грома, испуганно вскинула голову, запахнула на груди платок. Что-то померещилось ей в коридоре.

– Кто там?

Голубой свет молнии коротко кинулся в окно, прихватывая с собой на стену чёрный крест оконной рамы, пару несчастных листьев, голые сучья, остановившиеся дождевые потоки на стекле. Дрожащей от испуга рукой Арина прибавила в лампе фитиля, загнала темноту в углы комнаты. Прикрытая дверь заскрипела, расширяя чёрное, страшшее нутро коридора. В темноте вырисовалась госпитальная пижама, рука на перевязи.

– Извините, я покурить выходил, вижу, у вас лампа горит, – керосиновый свет выхватил из коридорной темноты половину исхудавшего лица поручика Резанцева. – Войти можно?

Арина с показным равнодушием пожала плечами.

– Входите.

Резанцев стал у печи, тень его чётко обрисовалась на печных изразцах, изломом достала до потолка.

– Мы с вами полгода не виделись, а вы делаете вид, что не узнаете меня.

Арина опустила голову, пряча подбородок в складках пухового платка, и не придумала ничего лучше, чем ответить вопросом на вопрос:

– Как ваша рука?

– Рука заживает, а вот голова побаливает.

– Это последствия контузии.

– Вероятно. – Он завёл руку за спину, прислонился к печи. – Должен признаться, я не случайно оказался здесь. Меня в Москву должны были определить, но когда узнал, что ваш поезд стоит на соседней станции, сбежал и к вам напросился. Целую ночь на телеге протрясся.

– А вот это зря, лишняя тряска вам ни к чему.

Арина прятала глаза, плотнее куталась в платок, хоть не было ей холодно. Напротив – жар бросался в лицо. А Резанцев настойчиво продолжал клонить разговор к тому, чего Арина никак не могла допустить:

– Помните, нёс вас на руках с катка? Вы так дрожали... Я ещё тогда понял, что не смогу жить без вас.

– Наслышана о ваших гусарских повадках, – жёстко ответила Арина. – И о ваших победах над женщинами наслышана. Если вы надеетесь, что я украсу собой сей победный список, – напрасно.

Поручик устало усмехнулся.

– Половина всего – обычные сплетни.

– А вторая половина?

– Её тоже не было бы, узнай я вас на несколько лет раньше.

Арина чувствовала, как бьётся на шее жилка, но ответила голосом твёрдым и холодным:

– Идите спать, поздно уже. Да и мне пора. – Она поднялась и, сложив на груди руки, пошла из кабинета в спальню.

– Арина Сергеевна...

– Завтра трудный день. Спокойной ночи.

В тёмной спальне она села на кровать, зябко обняла плечи. В приотворённую дверь ей была видна часть кабинета. В свете забытой на столе лампы Резанцев стоял у печи, задумчиво опустив голову. Потом вздохнул, не поднимая головы, бесшумно вышел из кабинета.

Глава 11

– Оленька, ну хоть вы вразумите её.

Досадливо хлопая ладонями по бокам, Николай Евгеньевич ходил по Ариной спальне из угла в угол. Городская квартира Марамоновых выходила на центральную улицу. По окнам ползли струи дождя, хмарилось небо.

Двери орехового гардероба – распахнуты настежь. На стульях, на спинках кровати, на кружевном постельном покрывале, – всюду разбросаны юбки, кофты, жакеты. Взятая вместо Анюты горничная стояла у гардероба, перебирая плечики с платьями. Арина с другого конца комнаты подсказывала ей:

– Не это – правее... Ещё правее... Да, укладывай.

Ольга сидела бочком на стуле, уперев локоть в изогнутую резную спинку. Наматывая на указательный палец выбившуюся из-за уха прядку золотистых волос, наблюдала за Ариной.

– Это бог знает, что такое, – возмутился Николай Евгеньевич. – Оленька, ну поговорите же с ней! На вас последняя надежда. Уму непостижимо, что удумала – ехать с поездом на фронт. Это сколько же вёрст в поезде? Туда, да обратно... А там поезда под обстрел попадают... Оленька, ну что же вы молчите?

Ольга решительно сложила губы, вытянула в струнку прядь волос.

– Хорошо, Николай Евгеньевич, только оставьте нас вдвоём. – Отпущенная на волю прядка волос спиралькой воинственно прыгнула к уху. – И ты, Дарья, погуляй.

Ещё дверь не успела закрыться за Николаем Евгеньевичем и Дарьей, – Арина перешла в контрастную комнату, не давая и слова сказать:

– Только давай без уговоров, что решено, то решено. Всё! Слышать ничего не хочу.

– Арин, ну нельзя же так с ходу, не обдумав...

– Оля, слова сейчас бесполезны!

– Нет уж, дай и мне слово сказать. Думаешь, не догадываюсь, почему ты так торопилась на Ривьеру?! Опять бежишь от самой себя?! Сколько можно? – Ольга ходила по комнате, порывисто оборачиваясь к Арине и бросая ей хлёсткие фразы. – От этого поручика ты сбежишь, а от самой себя? Пора уже решиться на что-нибудь. Ты же женщина. Сделай так, чтобы и волки были сыты и овцы...

Арина распахнула во всю ширину синие, застывшие от возмущения глаза. Ольга осеклась, хлопнула себя кончиками пальцев по лбу, будто вспомнила о чём-то.

– Господи, кому я это говорю! Ладно-ладно, не смотри на меня так. Уговариваю тебя, будто сама верю, что смогу уговорить.

Воинственность Ольги внезапно иссякла, она села на стул, подпёрла пальцами висок. В остывшем голосе зазвучали нотки смирения:

– В госпитале кто останется?

– Ты, конечно.

– Бросить тебя я не могу, – едешь ты, еду и я.

– А госпиталь?

– Придётся взвалить всё на Андрусевича. Анюта у нас личность ответственная, властная, с хозяйственными проблемами у него вопросов не будет. – Ольга деловито поднялась, развела руками, мол, сама того хотела, Арина Сергеевна, так что не обессудь. – Пойду Николая Евгеньевича уговаривать.

– Оля, погоди, давай посоветуемся, такие решения с ходу не принимают.

– А ты долго думала, когда своё решение принимала? Или советовалась со мной?

– А Роман Борисович?

– Ах, Роман Борисович! Вот ведь какие мы заботливые! А Николай Евгеньевич? О нём ты думала?.. Ладно, садись и жди. Опять мне твои семейные дела улаживать.

Пошла в мармоновский кабинет. Николай Евгеньевич торопливо поднялся на встречу.

– Ну?..

Ольга подошла, заботливо отряхнула с его плеча какую-то пылинку, тяжело вздохнула:

– Николай Евгеньевич, вы же знаете её, – если вбила себе в голову... – Ольга безнадежно пожала плечами. – Ну и чувство долга. Вы же знаете, в ней это сильно развито. Но вы не беспокойтесь, я поеду с ней. Под моим присмотром с ней ничего плохого не случится, обещаю вам.

Глава 12

Зима 1917 года.

Два с лишним года прошли на колёсах, Арина со счёта сбилась, сколько было этих поездов на фронт. Порой она уставала от бродячей жизни, и тогда поезд уходил без неё. Но дома что-то не ладилось, – пустой казалась огромная квартира.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.